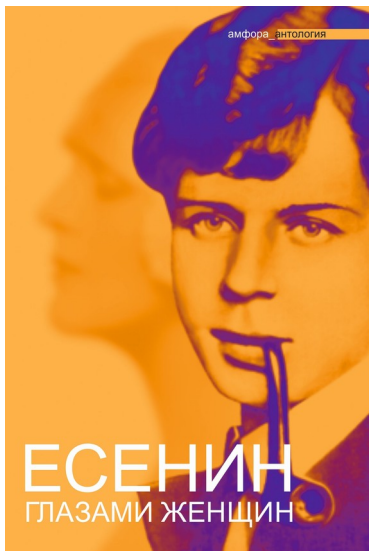




Антология
Павел Евгеньевич Фокин
Есенин глазами женщин

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11829198
Есенин глазами женщин : Антология / [сост., предисл., коммент. П. Фокина]: Амфора. ТИД
Амфора; СПб; 2006
ISBN 5-367-00114-9

Аннотация

В антологию включены воспоминания женщин, в разные годы входивших в окружение Сергея Есенина и по-разному повлиявших на его жизнь и творчество. Особый интерес представляют мемуары А. А. Берзиной (Берзинь), ранее полностью не публиковавшиеся.

Содержание

«Вы помните, вы все, конечно, помните...»	6
Т. Ф. Есенина	10
Е. А. Есенина	12
А. А. Есенина	28
А. Р. Изряднова	42
Т. С. Есенина	44
Н. Д. Вольпин	52
От автора	52
Часть первая	53
Белый и «зеленые»	53
Первое знакомство. Молочный брат	54
Умён	58
«Сестра моя жизнь» в СОПО	59
Несет себя как личность	59
Львов-Рогачевский	60
Кобыльи корабли	61
Хлястик и канотье	63
Тонкая штучка	64
Пощечина. Суд	65
Конец ознакомительного фрагмента.	67



Есенин глазами женщин. Антология

Сост. П.Фокин

Защиту интеллектуальной собственности и прав издательской группы
«Амфора» осуществляет юридическая компания «Усков и Партнеры»

© Фокин П., состав, предисловие, комментарии, 2006

© Берзина А. А., 2006

© Вольпин Н. Д., 2006

© Оформление. ЗАО ТИД «Амфора», 2006

Фото из собрания Государственного Литературного музея (Москва)

«Вы помните, вы все, конечно, помните...»

Пленительный Лель, голубоглазый и златокудрый, беспечный пастушок, поющий задушевные песни, компанейский парень, всеобщий любимец, растрата девичьих сердец – казалось, пришел он из волшебной сказки Островского, прямо из царства мудрого Берендея. В самом имени его – Сергей Есенин – столько весеннего света, ясности, тепла, сердечности.

Поэтесса и журналистка Зоя Бухарова в ноябре 1915 года в репортаже «Петроградской газеты» о поэтическом вечере группы «Краса» просто млела, описывая дебют Есенина на столичном Парнасе (примечательно – первый литературный портрет Есенина принадлежит именно женщине!): «Робкой, застенчивой, непривычной к эстраде походкою вышел к настороженной аудитории Сергей Есенин. Хрупкий девятнадцатилетний крестьянский юноша, с вольно выющимися золотыми кудрями, в белой рубашке, высоких сапогах, сразу, уже одним милым, доверчиво-добрым, детски-чистым своим обликом властно приковал к себе все взгляды. И когда он начал с характерными рязанскими ударениями на „о“ рассказывать меткими, ритмическими строками о страданиях, надеждах, молитвах родной деревни („Русь“), когда засверкали перед нами необычные по свежести, забытые по смыслу, а часто и совсем незнакомые обороты, слова, образы, – когда перед нами предстал овеванный ржаным и лесным благоуханием „Божией милостью“ юноша-поэт, – размягчились, согрелись холодные, искушенные, неверные, темные сердца наши, и мы полюбили рязанского Леля».

Это первое впечатление прочно вошло не только в сознание современников, но и на долгие годы мифом приросло к противоречивой, мятущейся личности поэта – вопреки последовавшему вскоре имажинизму, беспутному разгулу, «половодью чувств», вопреки цилиндрам и Айседоре, «Москве кабацкой» и «Черному человеку».

О, эти голубые глаза! О, эти пшеничные локоны! Нет, совсем не Лель, другой персонаж русской литературы трагически заявлял здесь о своем приходе – еще не истративший душу, но уже вступивший на путь экзистенциальных экспериментов Свидригайлов! Без бороды его никто не узнал...

«Я все себе позволил!» – любил говорить Есенин. И это не было пустой фразой. С карамазовским безудержем прожил он свои тридцать лет, а потом – «кубок об пол»!

«Донжуанский список» Есенина вполне мог бы соперничать с пушкинским.

Много девушек я перещупал,
Много женщин в углах прижимал.

Но это отнюдь не список побед. Скорее, напротив. Интимная биография поэта поражает своей беспорядочностью и запутанностью. Его бросает от одной женщины к другой, но ни одна не может удержать его.

Ни безотчетная любовь, ни смирение, ни самопожертвование не способны дать поэту заветного счастья. Смертная тоска неодолимо заполняет сердце.

Много женщин меня любило,
Да и сам я любил не одну,
Не от этого ль темная сила
Приучила меня к вину.

.....

Не больна мне ничья измена,

И не радует легкость побед, —
Тех волос золотое сено
Превращается в серый цвет.

Превращается в пепел и воды,
Когда цедит осенняя муть.
Мне не жаль вас, прошедшие годы, —
Ничего не хочу вернуть.

Я устал себя мучить бесцельно,
И с улыбкою странной лица
Полюбил я носить в легком теле
Тихий свет и покой мертвеца...

«Поллюбить бы по-настоящему! Или тифом, что ли, заболеть!» — запомнила Надежда Вольпин признание поэта.

Да, Есенин не знал «настоящей», трагической любви. Той страсти, что сжигала Блока. Тех мучений, что терзали Маяковского.

Ему повезло: его женщины его любили.

Ни одна не отвергла. Ни одна не посмотрела насмешливым взглядом, не заставила гореть в огне сомнений, томиться жаждой несбыточных встреч, трепетать, отчаиваться, ликовать и плакать — любить. Ему не повезло...

Так и промаялся весь век — безлюбый.

Секс-идол России на все времена, он изнывал от тоски безразличия.

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
Перстень счастья ищущий во мгле,
Эту жизнь живу я словно кстати,
Заодно с другими на земле.

И с тобой целуюсь по привычке,
Потому что многих целовал,
И, как будто зажигая спички,
Говорю любовные слова.

«Дорогая», «милая», «навек»,
А в уме всегда одно и то ж,
Если тронуть страсти в человеке,
То, конечно, правды не найдешь.

Но ведь и сам он избегал роковых встреч. (Однажды лишь потерял голову, с Айседорой, да и то ненадолго. И, кажется, не совсем без задней мысли ринулся к ней в объятия.)

Ему ведь прежде нужно было, чтобы *его* любили. Не скрывал этого:

Было время, когда из предместья
Я мечтал по-мальчишески — в дым,
Что я буду богат и известен
И что всеми я буду любим.

Он всегда дарил женщинам букеты – был равнодушен к цветам.
Неизменно провожал до дома – нравилось быть галантным кавалером.
Охотно читал вслух стихи – любил свою поэзию, свой голос и артистизм.

«Прекрасной даме» искать в его сердце было нечего. Слишком был очарован собой.

Надежда Вольпин и шестьдесят лет спустя не могла забыть: «Зеркало!.. Ни к кому я так не ревновала Сергея – ни к одной женщине, ни к другу, как к зеркалу да гребенке. Во мне все сжималось от боли, когда он, бывало, вот так глядит на себя глазами Нарцисса и расчесывает волосы. Однажды я даже сказала ему полусуто (и с болью):

– До чего же у нас с вами сходный вкус! Я люблю Сергея Есенина – и вы любите Сергея Есенина.

Он только усмехнулся».

Сколько еще таких усмешек зафиксировали женские глаза. Иногда они носили добродушно-лукавый характер, иногда – злобно-насмешливый, презрительный.

Ах, любовь! Она ведь всем знакома,
Это чувство знают даже кошки,
Только я с отчизной и без дома
От нее собираю скромно крошки.

Счастья нет. Но горевать не буду —
Есть везде родные сердцу куры,
Для меня рассеяны повсюду
Молодые чувственные дуры.

С ними я все радости приемлю
И для них лишь говорю стихами:
Оттого, зная, люди любят землю,
Что она пропахла петухами.

Почему-то ему все прощалось. Даже эта петушиная наглость.

Отнюдь не «чувственные дуры» отдавали Есенину свои сердца. В пестром хороводе есенинских женщин мы видим рядом: бойких сестер поэта, Катю и Шуру, восхищенных и очарованных братом; скромную, трудолюбивую Анну Изряднову, мать первого сына Есенина; талантливую, исполненную чувства собственного достоинства Зинаиду Райх, венчанную жену и мать двоих есенинских детей; утонченную, эстетствующую Надежду Вольпин, поэта и друга, мать последнего сына Есенина; бурную, экзотическую Айседору Дункан, трогательную в своей любви к Революции и русскому поэту; жертвенно трагическую Галину Бениславскую, не выдержавшую вечного одиночества после гибели любимого и покончившую с собой на его могиле год спустя; Августу Миклашевскую, чуть было не ставшую женой, адресат поздней лирики Есенина; вдохновительницу «Персидских мотивов» Шаганэ Тальян; немного прямолинейную, но оттого не менее чуткую Анну Берзину; неудачную супругу Софью Андреевну Толстую. Рядом с ними – мать, растерянная и, кажется, немного испуганная талантом и судьбой сына.

Сложные отношения связывали их между собой. Так уж жил Сергей Есенин, что вокруг него сразу было несколько женщин, которых он отличал своим доверием, вниманием и – иногда – любовью. Знакомил их друг с другом, заставлял общаться, принимать участие в его делах. Иногда искры ревности, особенно на первых порах, когда в круг есенинских подруг входила новая избранница, проскакивали меж ними, но очень быстро затухали, уступая место сочувствию. Именно так. Хлебнув сполна бед и испытаний, шедших от отчаянного

своеволия Есенина, они прекрасно знали, что любовь к Есенину – это испытание сердца, крест, который не всякой по силам нести, и, как умели, старались помочь друг другу, поддержать, выручить, утешить. С исключительным чутьем понимали они, что каждая из них нужна Есенину, у каждой есть своя роль, свое место в его жизни, и, кажется, с той же отчетливостью осознавали, что ни одна не способна быть для него всем. Мучались этим и спасались. Тут есть над чем поломать голову психологам.

Воспоминания, собранные в этой книге, принадлежат тем, кто входил в состав этой большой и нескладной семьи (именно семьей чуть позже назовет в своей предсмертной записке Маяковский группу дорогих ему лиц – маму, сестру, Лилю Брик и Веронику Полонскую). Исключение составляет лишь очерк Н. Крандиевской-Толстой, запечатлевшей свои встречи с Есениным и Айседорой Дункан за границей, но он частично возмещает отсутствующие признания самой Айседоры, хотя, конечно, и не заменяет их.

Для всех мемуаристок Есенин не просто близкий человек – родной. Им дорого в нем все: и гений, и злодейство. Сказочное волшебство его улыбки и крошечный ужас опухшего с перепоя лица. Небесная синь глаз и фиолетовые омуты синяков. Безмятежная веселость и понурая замкнутость. «Роза белая с черною жабою». «Идеал Мадонны и идеал Содомский».

С замершим сердцем (восторг и отчаяние), со слезами в глазах (умиление и боль), с комом в горле (благодарность и обида) перебирают они в памяти бисер встреч, событий, разговоров, мучительно ищут связь между ангелом и демоном.

И – не могут найти.

Женский взгляд проницателен, он различает многие нюансы облика, настроения, слов и поступков. За любимым следит чутко. К окружающим относится придиристо. Ему открывается многое, что утаивается от остального мира. И это всегда взгляд деятельной души, заботливой, хлопотливой, ответственной. Но, как всегда бывает, у семи нянек – дитя без глазу. Воспоминания окружавших Есенина женщин отличаются особенной интонацией. В ней собраны все оттенки женской печали – материнской, сестринской, супружеской (вне зависимости от того, кем в действительности они приходились поэту, каждая чувствовала себя и сестрой, и женой, и матерью): не уберегли!

Няньки!..

А ему была нужна – Госпожа. «Королевна». Настасья Филипповна.

Их невозможно винить. Можно лишь попытаться разделить их печаль.

Павел Фокин

Т. Ф. Есенина О сыне

Был у нас в селе праведный человек, отец Иван. Он мне и говорит: «Татьяна, твой сын отмечен Богом».

...Родился в селе Константинове. Читал он очень много всего. И жалко мне было его, что он много читал, утомлялся. Я подойду погасить его огонь, чтобы он лег, уснул. Но он на это не обращал внимания. Он опять зажигал и читал. Дочитается до рассвета и не спавши поедет учиться опять. Такая у него жадность была к учению, и знать все хотел. Он читал очень много, я не знаю, как сказать сколько, а начитан очень много.

Учился в своей школе, сельской. Четыре класса. Получил похвальный лист. После учебы отправили мы его в семилетку, в которую не всякий мог попасть в это время¹. Было только доступно господским детям и поповым, а крестьянским нельзя было. Но так как он учился хорошо, священник у нас был опытный человек, видел, что у него талант, посоветовал нам с отцом: «Давай его отправим...» Ну, мы согласились – отправили. Он там проучился три года, в семилетке. И писал. Стихи писал уже. Он напишет, прочитает и скажет:

– Мама, послушай, как я написал.

А мы и понятия не имели, что это за поэзия такая. Ну, написал и кладет. Собирал все в папку, собирал. А ведь я занята была крестьянскими делами. А он занят головой. У него работала голова именно о том, чтобы читать и читать. Сергей был только для чтения, так, чтобы ему побольше ухватить на свете, узнать все. Очень жадно все читал.

Когда закончил семилетку, приехал домой. Отец его отозвал в Москву к себе. Он поехал, не послушался. Шестнадцать лет ему было. Отец поставил его в контору к своему хозяину. Ему не понравилось сразу. Как это? Хозяйка строгая такая была, нападала все на служащих. Он заявляет отцу:

– Папа, я твоему хозяину служить больше не буду.

– Почему?

– Да нельзя. Потому что хозяйка бьет прислугу.

– Ну, твое дело, поступай как хочешь.

– Я хочу сам над собой хозяином быть.

Отец:

– Ну делай что хочешь.

Отправился к Сытину. Известный был человек Сытин². Пришел к нему туда. Сытин принял его охотно. Остался у него работать корректором. И писал... Стихи писал... Он писал, и Сытин о нем понял, что он человек доступный, – и Сытин с ним вместе писал... И вот понесут они издавать свою работу, у Сергея принимают, а у Сытина нет, у старика. Обидно ему, и жалко его, что его так оскорбляют. Но недоступно, говорят, нельзя, нельзя их принять. Приходится старику обратно идти со своими стихами. А у этого – давай, давай... Он проверяет свои книги и работает свое дело, пишет.

Каждое лето приезжал в деревню. Или до заграницы, или после был дома, домой обязательно ездил каждое лето. Приедет... Мы радостно его встречали. Подарки нам привезет. Как было хорошо, весело. И соседей всех угостит винцом. Стариков соберет, угостит. Все было хорошо... Тогда еще убирали барские луга. Покошили немного. «Папа, – говорит, –

¹ После окончания Константиновского земского четырехгодичного училища Есенин с сентября 1909 г. по май 1912 г. учился в Спас-Клепиковской второклассной учительской школе.

² Речь идет об издателе И. Д. Сытине.

давай бросим. Найдем. Хватит с нас этого». Косьбу бросили, пришли домой. «Хватит с нас, я заработаю – пришло».

Все лето у него проходило с гостями. Какую-нибудь старуху где-нибудь поймают, приведут, посадят, угостят ее, послушает, что она будет говорить про прошлое время. Ему было интересно. В прошлое время кровать не называли кроватью, а «коник». Как это «коник» понять? На чем спать? На конике. Ему это интересно было знать. Везде он так всех слушал: и стариков, и старух, – везде узнал, кто как живет, кто как понимает. Один раз пришлось так. Был под горой, играл с ребятами. Идет из-под горы – старики собрались, толкуют о святом отце Серафиме. Посмеялся с мужиками, что о. Серафим табаку обнюхался. Все подняли смех. Не сказать, что религиозный был, но все-таки я его водила в детстве куда надо. Приучала. Мы – люди старые, так было нужно. А сейчас – другое время.



С. Есенин с матерью. 1924

...Приехал домой, читал стихи мне. Уж он был знаменитым поэтом. Но он стал читать «Москву кабацкую», мне не понравилось это. Я обвинила его – не нужно это. А он говорит: «Мама, я как вижу, так и пишу, вы меня не вините. У поэта ни одно слово не должно лишнее быть». Больше я ему ничего не сказала. Я больше его не знаю.

Жил хорошо, слушался во всем, не отказывал мне ни в чем и не безобразничал, как другие. Все восхищались.

Приезжал в деревню знаменитым поэтом и читал стихи крестьянам.

1955

Е. А. Есенина В Константинове

Вся округа знала Федора Андреевича Титова (нашего дедушку по матери).

Умен в беседе, весел в пиру и сердит в гневе, дедушка умел нравиться людям.

Он был недурен собой, имел хороший рост, серые задумчивые глаза, русый волос и сохранил до глубокой старости опрятность одежды. Он был одним из четырех сыновей константиновского крестьянина. В нашем малоземельном краю четверем молодцам в одном доме нечего было делать, поэтому наш народ всегда занимался отхожими промыслами. С началом весны у нас почти половина мужского населения уходила в Питер на заработки. Там они нанимались рабочими на плоты или на баржи и плавали по воде все лето.

Потом мужики объединились в артель. Почти все члены артели приобрели собственные баржи, и каждый стал сам себе хозяин.

Дедушка со своими баржами был очень счастлив. Удача ходила за ним следом. Дом его стал полной чашей. Семья его состояла из трех сыновей и одной дочери (нашей матери). В доме был работник и работница, хлеба своего хватало всегда до нови. Лошади и сбруя были лучшие в селе.

В начале весны дедушка уезжал в Питер и плавал на баржах до глубокой осени.

По обычаю, мужикам, возвращающимся домой с доходом, полагалось благодарить Бога, и церковь наша получала от них различную утварь: подсвечники, ковры, богатые иконы – все эти вещи мужики покупали в складчину. Дедушка был очень щедрым на пожертвования и за это был почитаем духовенством. В благодарность Богу за удачное плавание дедушка поставил перед своим домом часовню. У иконы Николая Чудотворца под праздники в часовне всегда горела лампада.

После расчета с Богом у дедушки полагалось веселиться. Бочки браги и вино ставились около дома.

– Пейте! Ешьте! Веселитесь, православные! – говорил дедушка. – Нечего деньгу копить, умрем – все останется. Медная посуда. Ангельский голосок! Золотое пение. Давай споем!

Пел дедушка хорошо и любил слушать, когда хорошо поют. Веселье продолжалось неделю, а то и больше. Потом становилось реже, в базарные дни по вторникам, а к концу зимы и вовсе прекращалось за неимением денег. Тогда наступали черные дни в Титовом доме. То и дело слышались окрики дедушки:

– Эй, бездомовники! Кто это там огонь вывернул?

И начиналась брань за соль, спички, керосин.

Все затихало в доме Титовых, когда дедушка был сердит. Своего младшего сына он навсегда сделал несчастным. Сын его (дядя Петя) был еще в детстве напуган коровой. Ему было лет восемь, когда он провинился и, боясь гнева дедушки, не пошел кланяться ему в ноги, а спрятался на чердаке. Дедушка от такой дерзости рассвирепел. Он сам влез на чердак и, найдя сына, притаившегося в темном углу, взял его за шиворот и сбросил вниз.

С необузданностью в дедушке уживалась большая доброта и нежность по отношению к детям. Уложить спать, рассказать сказку, спеть песню ребенку для него было необходимо. Сергей часто вспоминал свои разговоры с ним. Вот один из них.

Дедушка с Сергеем спали на печке. Из окна на печку светила луна.

– Дедушка, а кто это месяц на небе повесил?

Дедушка все знал и, не задумываясь, отвечал:

– Месяц? Его туда Федосий Иванович повесил.

– А кто такой Федосий Иванович?

– Федосий Иванович сапожник, вот поедем с тобой во вторник на базар, я тебе покажу его – толстый такой.

Часто Сергей напевал припев одной из детских песенок, которую пел ему дедушка:

Нейдет коза с орехами,
Нейдет коза с калеными.

Когда мать ушла от Есениных, дедушка взял Сергея к себе, а ее послал в город добывать хлеб для обоих, при этом приказал ей высылать три рубля в месяц на сына.

С Питером у дедушки в это время все было кончено. Две баржи уничтожил пожар, а остальные утонули во время половодья. Дедушка был разорен, так как баржи не были застрахованы.

Теперь в доме Федора Андреевича наступил другой порядок. Старшего сына, дядю Ваню, он оставляет навсегда в городе, но жена его живет у дедушки. Среднего сына, дядю Сашу, он женит и оставляет дома, в деревне. Младший сын, дядя Петя, припадочный, для тяжелой работы не годится, он помогает по дому.

Хозяйствует сам дедушка. Он не гнушается никакой работой: возит барское сено, сам косит на покосах, молотит рожь и делает все, что нужно для дома. Каждое воскресенье он идет в церковь к обедне. В этот день отдыхает вся семья.

Пять лет Сергей жил у дедушки Федора. Дядя Петя был первым другом Сергея, он учил его плести корзины, вырезать красивые палки, делать свистки. Жена дяди Вани и дедушка рассказывали ему сказки. Дядя Саша посылал за лошадьми и брал его с собою в лес и в поле. Бабушка учила молиться Богу и старалась покормить послаще.

Мать судилась с отцом, просила развод. Отец отказал в разводе. Она просила разрешения на получение паспорта – отец, пользуясь правами мужа, отказал и в паспорте. Это обстоятельство заставило ее вернуться к нашему отцу.

После смерти бабушки Аграфены в 1909 году отец и мать решили построить себе новый дом (старый требовал большого ремонта). Теперь мы живем в новом доме. Я помню Сергея с той поры, когда он ходил в школу.

Утром я редко видела Сергея дома. Скучно тянулся день. Я играла в куклы, забавлялась с кошкой – матери некогда было интересоваться мною, она даже в избе мало бывала. Подруг у меня еще не было. Если я выходила гулять, то только около избы, недалеко от матери.

Каждый день я ждала Сергея из школы: тогда мать придет в избу собирать обед, будет разговаривать с ним, и мне веселее будет.

Сергей никогда не играл со мной, он всегда дразнил меня, и все-таки я любила, когда он был дома. Весной и летом Сергей пропадал целыми днями в лугах или на Оке. Он приносил домой рыбу, утиные яйца, а один раз принес целое ведро раков. Раки были черные, страшные и ползали во все стороны. Рассказывал, где и с кем он их ловил, смеялся, и мать становилась веселей.

Неожиданно приехал отец из Москвы, привез гостинцев и две красивые рамки со стеклом. Одну для похвального листа, другую для свидетельства об окончании сельской школы. Это награда за отличную успеваемость Сергея в школе. Похвальный лист редко кто имел в нашем селе. Отец снял со стены портреты, а на их место повесил похвальный лист и свидетельство, ниже повесил оставшиеся портреты. Когда пришел Сергей, отец с улыбкой показал ему свою работу. Сергей тоже улыбнулся в ответ.

Потом позвали в гости отца Ивана и тетю Капу. За столом шла беседа о том, куда определить Сергея. Отец Иван и тетя Капа посоветовали учить его дальше и указали, где надо учиться. Отец наш пробыл три дня у нас и опять уехал. После отъезда отца мать часто

ходила к Поповым, что-то шила, принесла маленький сундучок и уложила туда вещи Сергея. Потом к нашей избе подъехала лошадь, вошел чужой мужик, молились Богу и мать с Сергеем уехали, оставив меня дома с соседкой. Сергей уехал учиться во второклассную учительскую школу в Спас-Клепики.

Зимой жили мы вдвоем с матерью. Мать много рассказывала мне сказок, но сказки все были страшные и скучные. Скучными они мне казались потому, что в каждой сказке мать обязательно пела. Например, сказка об Аленушке. Аленушка так жалобно звала своего братца, что мне становилось невмочь, и я со слезами просила мать не петь этого места, а просто рассказывать. Мать много рассказывала о святых, и святые тоже у нее пели.

К Рождеству на каникулы приехал Сергей, он показался мне очень высоким и совсем не таким, как раньше. Когда он вошел в избу в валенках, в поддевке и рыжем башлыке, запорошенный снегом, он походил на девушку.

Как всегда, он почти не говорил со мной, а читал или говорил с матерью. Однажды мы остались с ним вдвоем, он читал, я была уже в кровати. Громкий хохот Сергея заставил меня подняться. Он хохотал до слез, я удивленно глядела на него – в избе никого не было. В это время вернулась мать и немедленно приступила с допросом:

– Ты что смеешься-то?

– Да так, смешно, – ответил Сергей.

– И ты часто так смеешься, один-то?

– А что? – спросил Сергей.

– Вот так в Федякине дьячок очень читать любил, все читал, читал и до того дочитался, что сошел с ума. А отчего? Все книжки. Дьячок-то какой был!

Сергей засмеялся.

– Я вот смотрю, ты все читаешь и читаешь. Брось ты свои книжки, читай что нужно, а пустоту нечего читать.

Прошли каникулы. Сергей неохотно стал собираться в Спас-Клепики. Мать наказывала терпеть, слушаться учителей и советовалась после его отъезда с хромой Марфушей.

– Как быть, кума? Очень дерутся там в школе-то, ведь изуродуют, чем попало дерутся.

– Пусть, кума, потерпит, а тут что? Сама съездий, – говорила Марфуша.

Матери становилось легче.

Вскоре после каникул Сергей приехал с нашими мужиками обратно. Сначала он сказал, что распустили всю школу, а на другой день заявил матери, что больше учиться не будет.

Мать очень перепугалась: как отец на это посмотрит? Они долго думали и наконец решили написать обо всем отцу. Сергей с надеждой, что скоро вернется, поехал в школу.

Школа Сергея в Спас-Клепиках, казалось мне, стоит где-то посреди воды и в половодье дорога там очень опасна.

– Ах ты, господи, страсть-то какая, как они будут переправляться через воду? Спаси его, Господи, перенеси, Царица Небесная, через эту напасть! – ахала мать, зажигая лампадку.

Сергей приезжал к Пасхе домой. В Спас-Клепиках у Сергея был большой друг Гриша Панфилов, и он рассказывал матери о семье Панфилова, о своих школьных товарищах.

Наконец через три года школа закончена. К осени отец вызвал Сергея к себе в Москву и устроил его работать в конторе у своего хозяина.

Из Москвы Сергей часто приезжал домой.

Дома он погружался в свои книги и ничего не хотел знать. Мать и добром и ссорами просила его вникать в хозяйство, но из этого ничего не выходило.

Когда Сергей, одевшись в свой хороший, хоть и единственный, костюм, отправлялся к Поповым, мать, не отрывая глаз, смотрела в окно до тех пор, пока Сергей скрывался в дверях дома Поповых. Она была довольна его внешностью и каждый раз любовалась им. Много девушек заглядывалось на наш небольшой уютный дом.

– Если ты женишься в Москве и без нашего благословения, не показывайся со своей женой в наш дом, я ее ни за что не приму, – наставляла мать. – Задумаешь жениться, с отцом посоветуйся, он тебе зла не пожелает и зря перечить не будет...

Спал Сергей в амбаре. Ключ от него он носил с собой всегда. Потом и я стала спать в амбаре.

Один раз я долго играла с ребятами и поздно пошла спать. Сергея не оказалось в амбаре: он ушел к Поповым. Ночь была чудесная, лунная, я села у амбара и стала ждать. Вишни и высокие плети картошки были серебристо-голубого цвета. Мне было жутко одной, вдалеке от жилья, но небо с миллионами звезд было так прекрасно, что мне на всю жизнь запомнилась эта ночь. Наконец заскрипела калитка.

– Ты давно здесь? – спросил Сергей.

Потом он сел на мое место, и я заснула под насвистывание какой-то нежной песенки.

Я любила Сергея. С ним у нас дома было веселее, и сам он был красивый, нарядный. Но мне казалось, он меня не любил. Сестру Шуру любили все. Когда ей было три-четыре года, Сергей с удовольствием носил ее к Поповым и там долго пропадал с ней.

Он плел ей костюмы из цветов (он умел из цветов с длинными стеблями делать платья и разных фасонов шляпы) и приносил ее домой всю в цветах. Я охотно бежала смотреть, как играют у Поповых в крокет, но, стоило появиться Сергею – он немедленно прогонял меня.

– Я не пойду домой, – заявляла я.

– Посмотри, на кого ты похожа, сейчас же иди домой, – тихо говорил он.

Иногда, жалея его, я уходила. Я понимала: ему стыдно, что у него такая сестра. Одевала нас мать в одинаковые платья с Шурой. Но моя беда в том, что платья эти часто висели на мне лохмотьями, а Шура всегда была опрятна и нарядна.

Кусты акаций каймою облегали невысокий старинный дом со створчатыми ставнями. Направо – церковь, белая и стройная, как невеста, налево – дом дьякона, дальше – дьячка. Большие сады позади этих домов как бы сплелись между собою и, полные разных яблок и ягод, были соблазнительно хороши. В старинном доме с акациями жил наш священник, отец Иван. Невысокого роста, с крупными чертами лица, с умными черными глазами, он так хорошо умел ладить с людьми, что не было во всей округе человека, который мог что-нибудь сказать плохое об отце Иване.

Больше пятидесяти лет отец Иван служил в нашей церкви. Он приехал к нам совсем молодым с маленькой дочерью. Несмотря на вдовство, мужики никогда не могли упрекнуть его в волокитстве за бабами. Правда, случалось, что иногда задерживалась обедня из-за того, что поп наш еще из гостей не приехал, но мужики понимали и не взыскивали с него.

Семья отца Ивана состояла из двух человек: дочери Капитолины Ивановны, девицы, и сына умершей сестры Клавдия. В доме отца Ивана всегда было еще много людей, которые ввиду долголетней службы у него считались тоже вроде своих.

Молоденькая девушка Настя, исполнявшая обязанности горничной, из-за бедности родителей выросшая в доме отца Ивана, хромая Марфуша-экономка, Тимоша Данилин (сын нищей вдовы), при содействии отца Ивана ставший студентом Московского университета, кухарка и работник.

Утонувший в зелени дом был очень удобен. Он состоял из трех частей. Первой частью была горница. Вторая часть называлась «сени» – это самое веселое место в доме, здесь зимой и летом до утра играли в лото, в карты, играли на гармонии и гитаре. Здесь рассказывали были и небылицы, здесь спевались певчие – словом, вся жизнь протекала в сенях.

Сергей был почти ежедневным посетителем Поповых сеней, дома он только спал и работал, весь свой досуг проводил у Поповых. В саду у отца Ивана был еще другой дом, и

Сергей иногда ночевал там вместе с загулявшей до свету молодежью, которая, как пчелы к улью, слеталась к отцу Ивану со всех концов.

Просторный дом отца Ивана всегда был полон гостей, особенно в летнюю пору.

Каждое лето приезжала к нему одна из его родственниц – учительница, вдова Вера Васильевна Сардановская. У Веры Васильевны было трое детей – сын и две дочери, и они по целому лету жили у Поповых. Сергей был в близких отношениях с этой семьей, и часто, бывало, в саду у Поповых можно было видеть его с Анютой Сардановской (младшей дочерью Веры Васильевны).

Мать наша через Марфушу знала о каждом шаге Сергея у Поповых.

– Ох, кума, – говорила Марфуша, – у нашей Анюты с Сережей роман. Уж она такая проказница, ведь скрывать ничего не любит. «Пойду, – говорит, – замуж за Сережку», и все это у нее так хорошо выходит.

Потом, спустя несколько лет, Марфуша говорила матери:

– Потеха, кума! Увиделись они, Сережа говорит ей: «Ты что же, замуж вышла? А говорила, что не пойдешь, пока я не женюсь». Умора, целый вечер они трунили друг над другом.

Однажды к именинам тети Капы готовили домашний спектакль. Сергей должен был играть возлюбленного молоденькой учительницы. Но сам он ни о чем дома не говорил, а Марфуша, как всегда, доложила матери.

– Ты приди, кума, поглядеть, уж есть хорошо, есть хорошо у них получается, оба они молодые, красивые. Сначала все целоваться стеснялись, а потом понравилось.

Я заранее стала приставать к матери, чтобы она и меня взяла с собой посмотреть представление.

Настал день именин. Санки, одни за другими, подъезжали к дому Поповых. Я сидела и смотрела в окно, как гости вылезали из санок. Вечером весь дом у Поповых засветился, и я очень боялась, что представление начнется без нас, а мать медлила, ей не хотелось, чтобы я шла с нею.

Наконец мать собралась идти. Мы пришли на кухню, где мать решила побыть до начала представления, чтобы не попасть на глаза Сергею. Когда началось представление, Марфуша повела нас в горницу.

В горнице было много народу, все сидели на стульях и смотрели в спальню тети Капы. В спальне горели две лампы, на стене были наклеены деревья. Вдруг я увидела красивую девушку с длинными черными косами. Девушка играла в большой мяч и что-то пела. Я забыла обо всем, забыла, где я, и жадно смотрела на красивую девушку. Неожиданно мать потянула меня за руку, я оглянулась и увидела сердитого Сергея.

– Сейчас же уходите домой, – потребовал Сергей.

– Мы тебе что, мешаем? – спросила мать.

– Уходите сейчас же, иначе я уйду отсюда, – говорил Сергей.

Мы пошли домой. На крыльце встретила Марфуша.

– Прогнал нас Сергей. Стесняется. Молодой, – сказала мать.

Много хороших дней в юности провел Сергей у Поповых. С годами он стал бывать у них реже. Но в каждый свой приезд в село он обязательно, как и в старое время, первым делом направлялся к ним.

Однажды у нас шел разговор о колдунах. Разговор зашел потому, что бабы стали бояться ходить рано утром доить коров, так как около большой часовни каждое утро бегают колдун во всем белом.

– Это интересно, – сказал Сергей. – Сегодня же всю ночь посижу у часовни, ну и намну бока, если кого поймаю.

– Что ты, в уме! – перепугалась мать. – Ты еще не пуганый? Рази можно связываться с нечистой силой! Избавь боже. Мне довелось видеть раз, и спаси господи еще встретить.

– Расскажи, где ты видела колдунов? – попросил Сергей.

– Видела, – начала мать. – Я видела вместе с бабами, тоже к коровам шли. Только спустились с горы, а она тут и есть, во всем белом скачет на нас. Мы оторопели, стоим – ни взад ни вперед; глядим, с Мочалиной горы тоже бабы идут. Мы кричать, они к нам бегут, ну мы осмелели, бросили ведры – да за ней. Она от нас, а мы с шестами за ней, догнали ее до реки, а она там и скрылась в утреннем тумане.

Вечером Сергей пошел к часовне. Мать упростила его взять с собой большой колбасный нож, на всякий случай. На рассвете Сергей вернулся домой, бабы-коровницы разбудили его у часовни, так он и проспал всех колдунов.

Этим же летом случилась еще оказия. По селу прошел слух, что к кому-то летает огненный змей. Каждую ночь бабы видят его летящим над барским садом. Разговору по этому поводу было много. Перебрали всех молодых вдовых баб.

– Господи, и какие бесстрашные, принимают нечистую силу, и хоть бы что.

– А ты узнаешь, что это нечистая сила-то?

– Ну, знать-то, понятно, все знают, только ты вот что скажи: не скоро справишься с ней.

И бабы рассказывали:

– Вот к Авдотье-то летал почти целый год. И если бы тетка Агафья не увидела, пропала бы совсем. Она встала на двор, только собралась выходить из избы-то, как вдруг все окна осветились; она – к окну и видит, что у них в проулке он весь искрами рассыпался и идет прямо к Авдотье в избу, ну ни дать ни взять – Микитка ее.

Отец Нюшки Меркушкиной в это время караулил барский сад. На следующий день Нюшка позвала меня за яблоками. Был уже глубокий вечер, когда мы направились с ней к барскому саду. Высокий забор не служил нам преградой. Привыкшие ко всяким приключениям, мы с ней не уступали в ловкости мальчишкам. Спустившись в сад, мы оказались в другом царстве. Высоко-высоко горели звезды. Яблони, поникшие под тяжестью плодов, казалось, дремали, невдалеке пылал костер. Семка, брат Нюшки, и его товарищ пекли картошку, отец в шалаше спал. «Вон яблоки, выбирайте из того вороха», – указал Семка. Набрав яблок, мы уселись около костра и за разговорами не заметили, сколько прошло времени. «Петухи-то кукарекали, ай нет?» – спросил Семкин товарищ. «Рано еще», – сказал Семка, и они продолжали спокойно лежать у костра на рваной дерюге. Вдруг петухи запели. Семкин товарищ поднялся, надел рукавицы и вытащил из костра горевшую головню. Повертев ею над головой, он закинул ее высоко в небо. Головня взвилась; падая, она ударялась о верхушки яблонь и рассыпалась искрами.

– Видела? – обратилась ко мне Нюшка. – Вот тебе змей огненный.

– А вы – ни гу-гу, – погрозил кулаком Семка, – мы хоть теперь уснем, а то бабы как чуть, так в сад лезут.

Дома я рассказала, как видала огненного змея.

Сергей хохотал до слез:

– Вот молодцы, додумались, и караулить не надо.

А мать ворчала:

– Паршивые, чего придумали, людей пугать понапрасну.

На Троицын день мать разбудила меня к обедне. Нарядившись и собрав букет цветов, я пошла в церковь.

В церкви я стояла недолго. За время обедни я вместе с моими сверстницами лазила в барский сад за цветами. Потом мы долго гуляли, и, когда кончилась обедня, я со всеми вместе пошла домой.

Дома у нас все было убрано березой. В открытые окна вместе с весной лился праздничный звон с нашей колокольни.

Мать ждала конца обедни, чтобы собрать завтрак.

Самовар уже кипел давно.

Весна была чудесная, день был солнечный, и праздник был в избе и на улице. В окно я увидела, что к нам прямо из церкви идет Хаичка³. Мать не поверила, когда я сказала:

– Хаичка к нам идет.

– Это она к Ерофеевне. К нам ей незачем, – проговорила мать.

Но Хаичка пришла к нам.

– Здравствуйте, с праздником вас, – сладко заговорила Хаичка.

– Поди здорово, – отвечала мать, с любопытством глядя на Хаичку.

– Уж есть хорошо вы живете-то, – запела Хаичка, – и изба хорошая, и храм Божий рядом.

– Ты проходи, садись, – приглашала мать. – Да, у нас хорошо, – ответила она на хвалу.

– А где же, Таня, у тебя еще-то твои? – усаживаясь, спросила Хаичка.

– Мы все тут, – улыбнулась мать, оглядывая нас. – Сергей спит в амбаре.

– Хорошо, хорошо вы живете. Сынка-то женить не думаешь?

– Да нет, рано еще, не думали.

– Ну где же рано, ровесники его давно поженились, пора и ему.

– Не знаю, мы волю с него не снимаем, как хочет сам.

– А вы не давайте зря волю-то, женить пора. Вот Дарье-то желательно Соню к тебе отдать, – прибавила она другим тоном, – и жени! Девушка сама знаешь какая. Что красавица, что умница. Другой такой во всей округе нет.

– Девка хорошая, что говорить. Я поговорю с ним, – сказала мать.

– Ты поговори, а потом мне скажешь.

– Ладно, поговорю. Давай чай пить с нами.

Хаичка отказалась от чая.

После ее ухода мать послала меня будить Сергея. Сергей уже проснулся. Дверь амбара была открыта, и он, задрав ноги на кровати, пел. «Уж и жених», – мелькнуло у меня в голове.

– Иди чай пить, – сказала я.

– Как? Обедня отошла уже? – спросил он.

– Давно, – ответила я и побежала домой.

За столом мать сказала Сергею о посещении Хаички.

– Я не буду жениться, – сказал Сергей.

Когда я пошла на улицу, мать остановила меня:

– Ты смотри, ничего никому не говори.

Хаичке мать ответила:

– Отец не хочет женить сейчас, еще, говорит, молод. Годок подождать надо.

Началась война. Сергея призвали в армию.

Худой, остриженный наголо, приехал он на побывку. Отпустили его после операции аппендицита.

– Какая тишина здесь, – говорил Сергей, стоя у окна и любясь нашей тихой зарей.

В армии он ездил на фронт с санитарным поездом, и его обязанностью было записывать имена и фамилии раненых. Много тяжелых и смешных случаев с ранеными рассказывал он. Ему приходилось бывать и в операционной. Он говорил об операции одного офицера, которому отнимали обе ноги.

³ Прозвище бабы, которая жила у нас в селе.

Сергей рассказывал, что это был красивый и совсем молодой офицер. Под наркозом он пел «Дремлют плакучие ивы». Проснулся он калекой...

Через несколько дней Сергей уехал в Питер.

В этот приезд Сергей написал стихотворение «Я снова здесь, в семье родной...».

После операции Сергей не мог ехать на фронт. Его оставили служить в лазарете в Царском Селе. Дважды он приезжал оттуда на побывку. Полковник Ломан, под начальством которого находился Сергей, позволял ему многое, что не полагалось рядовому солдату. Поездки в деревню, домой, тоже были поблажкой полковника Ломана. Отец и мать с тревогой смотрели на Сергея: «Уж больно высоко взлетел!» Да и Сергей не очень радовался своему положению. Поэтому его приезды домой, несмотря на внешнее благополучие, оставили что-то тревожное.

Но вот и до нашего отца дошла очередь идти в солдаты. Он приехал из Москвы домой на призыв. Простившись с нами, отец уехал в Рязань на медицинскую комиссию. В Рязани отец наш случайно оказался вместе с отцом Гриши Панфилова, который тоже был призван в армию. Отец Гриши, услышав знакомую фамилию, спросил его, не родня ли он Сережи Есенина. Встреча нашего отца с отцом Гриши Панфилова совпала с решающим моментом в жизни Сергея: ему было предложено написать стихи в честь Николая II. Это было в конце 1916 года. Канун революции. Сергей не мог писать стихи в честь царя и мучительно искал предлог для отказа. И в этот момент он получил от отца письмо, в котором тот сообщал о встрече с отцом Гриши Панфилова. С Гришей у Сергея были связаны все его свободолюбивые, революционные мечты, и это напоминание о Грише явилось «перстом указующим» в принятом Сергеем решении.

И вот в Константиново пришло письмо:

«Дорогая мамаша, свяжи, пожалуйста, мне чулки шерстяные и обшей по пяткам. Здесь в городе не достать таких. Пошли мне закрытое письмо и пропиши, что с Шуркой и как учится Катька. Отец мне недавно прислал письмо, в котором пишет, что он лежит с отцом Гриши Панфилова. Для меня это какой-то перст указующий заколдованного круга. Пока жизнь моя течет по-старому, только все простужаюсь часто и кашляю. По примеру твоему натираюсь камфарой и кутаюсь.

Сергей Есенин».

Открытка эта была последней из Царского Села. На следующий день мать пошла в Кузьминское послать посылку. Мы долго не получали ничего от Сергея, но в начале весны 1917 года он приехал домой на все лето. Из армии он с началом революции самовольно ретировался.

Барский сад с двухэтажным домом занимал у нас часть села и подгорье почти до самой реки. Вся усадьба была огорожена высоким бревенчатым забором, и ничей любопытный глаз не мог увидеть, что делается за высокой оградой. Высокие деревья, росшие по краям ограды, делали усадьбу красивой и таинственной. В годы моего детства владельцем этой усадьбы был Иван Петрович Кулаков, хозяин богатый и строгий. Ему принадлежал лес и половина наших лугов.

«Барин», «барское», «Кулаково» – то и дело склонялось мужиками и бабами. Для детей Кулаков был страшнее черта. Красная рябина, свисавшая через забор, соблазняла и манила сорвать ее. Смелчаки залезали на забор за рябиной, но, стоило кому-нибудь крикнуть: «Кулак, Кулак, лови», отважные похитители кубарем ссыпались с забора. Мне Кулаков казался чудовищем с черными длинными руками, и, когда кричали: «Кулак, лови», у меня мороз пробегал по спине. И вдруг новость: Кулак умер. Нам с Нюшкой очень хотелось видеть хоть мертвого барина, и мы в день похорон с утра дежурили у церкви. Было холодно и

скучно. Мы внимательно осмотрели могилу барина, выложенную всю кирпичом, и не могли понять, для чего могилу сделали как погреб. «Это чтобы дольше не сгнил», – объяснила мне потом мать.

После Кулакова барская усадьба перешла по наследству к его дочери Кашиной Лидии Ивановне. При молодой барыне усадьба стала гораздо интересней. Каждое лето Кашина с детьми приезжала в Константиново. Мужа с ней не было. Говорили, что муж ее очень важный генерал, но она ни за что не хочет с ним жить⁴. Молодая красивая барыня развлекалась чем только можно. В усадьбе появились чудные лошади и хмурый, уродливый наездник. Откуда-то приехал опытный садовник и зимой выращивал клубнику.

Кучер, горничная, кухарка, прачка, экономка и много разного люда появилось в усадьбе. К молодой барыне все относились с уважением. Бабы бегали к ней с просьбой написать адрес на немецком языке в Германию пленному мужу.

Каждый день после полдней жары барыня выезжала на своей породистой лошади кататься в поле. Рядом с ней ехал наездник.

Тимоша Данилин, друг Сергея, занимался с ее детьми.

Однажды он пригласил с собой Сергея. С тех пор они стали часто бывать по вечерам в ее доме.

Матери нашей очень не нравилось, что Сергей повадился ходить к барыне. Она была довольна, когда он бывал у Поповых. Ей нравилось, когда он гулял с учительницами. Но барыня? Какая она ему пара? Она замужняя, у нее дети.

– Ты нынче опять у барыни был? – спрашивала она.

– Да, – отвечал Сергей.

– Чего же вы там делаете?

– Читаем, играем, – отвечал Сергей и вдруг заканчивал сердито: – Какое тебе дело, где я бываю!

– Мне, конечно, нет дела, а я вот что тебе скажу: брось ты эту барыню, не пара она тебе, нечего и ходить к ней. Ишь ты, – продолжала мать, – нашла, с кем играть.

Сергей молчал и каждый вечер ходил в барский дом.

Однажды за завтраком он сказал матери:

– Я еду сегодня на яр с барыней.

Мать ничего не сказала. День был до обеда чудесный. После обеда поползли тучи, и к вечеру поднялась страшная гроза. Буря ломала деревья, в избе стало совсем темно. Дождь широкой струей хлестал по стеклам. Мать забеспокоилась. «Господи, – вырвалось у нее, – спаси его, батюшка Николай Угодник».

И, как нарочно, в этот момент послышалось за окнами: «Тонут! Помогите! Тонут!» Мать бросилась из избы. Мы остались вдвоем с Шурой. На душе было тревожно и страшно. Чтобы отвлечься, я стала сочинять стихи о Сергее и барыне:

Не к добру ветер свистал,
Он, наверно, вас искал,
Он, наверно, вас искал
Окол свешнековских скал.

Этой строфой начиналось и заканчивалось мое стихотворение.

Две средние строфы говорили о том, что Бог послал нарочно бурю, чтобы разогнать Сергея и Кашину в разные стороны.

⁴ Н. П. Кашин, муж Л. И. Кашиной, был в то время преподавателем русской словесности, затем стал литературоведом.



Л. И. Кашина

Мать вернулась сердитая. Оказалось, оборвался канат и паром понесло к шлюзам, где он мог разбиться о щиты. Паром спасли, Сергея на нем не было. Желая развеселить мать, я прочитала свое стихотворение. Оно ей понравилось.

Настала ночь. Мать несколько раз ходила на барский двор, но Кашина еще не возвращалась. Мало того, кучер Иван, оказалось, вернулся с дороги, и Сергей с барыней поехали вдвоем.

– Если бы Иван с ними был, мужик он опытный, все бы спокойней было, – ворчала мать.

Поздно ночью вернулся Сергей.

Утром мать рассказала ему о моем стихотворении. Сергей смеялся, хвалил меня, а через несколько дней написал стихотворение, в котором он как бы отвечал на мои стихи:

Не напрасно дули ветры,
Не напрасно шла гроза.
Кто-то тайный тихим светом
Напоил мои глаза.

Мать больше не пробовала говорить о Кашиной с Сергеем. И когда маленькие дети Кашиной, мальчик и девочка, приносили Сергею букеты из роз, только качала головой. В память об этой весне Сергей написал стихотворение Л. И. Кашиной «Зеленая прическа...».

Настала осень. Уехал Сергей, и мы опять погрузились в длинный зимний сон.

Весной этого же года я окончила нашу сельскую четырехклассную школу. Все лето я занималась с Тимошей Данилиным, который готовил трех мальчиков из нашего села для поступления в разные учебные заведения.

Сергей старался, насколько возможно, оградить меня от домашней работы, чтобы я имела время приготовить уроки. Он радовался моим успехам больше всех. Теперь я приехала в Москву. Осенью отец устроил меня в частную гимназию.

Я тосковала по дому и часто во сне видела себя дома, в деревне, и вслух говорила с матерью.

– Ты сегодня опять во сне капризничала с матерью, не хотела есть кислые сливки, – говорил отец. – Набаловала она вас, совсем испортила.

Оставшись одна, я молилась Богу: «Господи, сделай так, чтобы я вернулась домой!»

Жили мы с отцом очень скучно. Отец не знал, о чем со мной говорить, а я боялась его строгого взгляда. Наконец появился Сергей.

– Ну, ты не плачь. Я буду часто теперь ездить к вам, – говорил он. – Я знаю, трудно с отцом. А ты что-нибудь пишешь?

Я показала ему сказку о Кошче Бессмертном, написанную мною в стихах. Сергей похвалил меня. Он стал часто приходить к нам.

Ожидания Сергея сблизили нас с отцом.

– Ну вот, сегодня Сергей придет, а я масло принес, будем жарить картошку, – говорил отец, и лицо его становилось светлым.

За чаем мы все трое говорили и смеялись. Разговор был только о деревне, о наших людях.

– Да, как волка ни корми, он все в лес тянет, – говорил отец. – Тридцать лет с лишним, как я живу в Москве, а все не дома. И ты тоже, Сергей, приехала Катька, запахло домом, деревней, – бежишь теперь к нам.

В сундуке у отца хранились вещи Сергея. Однажды отец открыл сундук и развернул чудесный ковер. На белом атласном коне сидел прекрасный юноша. Переднюю ногу коня обвила зеленая змея. Юноша занес копье над головой змеи. Ковер был сделан из шелка, атласа и бархата.

– Это называется панно, – объяснил мне отец. – Картина означает «Святой Георгий побеждает зло».

Пришел Сергей и унес с собой это панно.

– Подарок замечательной художницы, – сказал он.

Вскоре панно украли у Сергея. У отца даже слезы брызнули, когда он узнал о пропаже картины. Сергею он ничего не сказал, только горестно поник головою.

Еще у отца в сундуке лежало несколько книг Сергея. Это были Библия, Пушкин и Гоголь с хорошими иллюстрациями.

Однажды Сергей пришел в неурочное время и застал меня за игрой в куклы.

Я быстро сгребла куклы со стола, но было поздно. Сергей улыбнулся:

– Ты все еще играешь в куклы?

– Да, – ответила я, – не говори, пожалуйста, отцу.

– А что ты читаешь?

– У меня нет книг, и я ничего не читаю, – ответила я.

Через день Сергей принес мне целый узел лоскутов для кукол. Лоскутья были всех цветов, и шелк, и кружево, и бархат – все было там. И еще он принес чудесную книгу – «Сказки братьев Гримм».

Теперь из школы я бежала скорей домой. Меня ждали сказки и ленты.

В 1918 году гимназию, в которой я училась, закрыли. В нашей же школе, в Константинове, открыли пятый класс, и отец посоветовал мне учиться в пятом классе, чтобы не забыть, что знала. «А там видно будет», – сказал он.

Пятый класс вела у нас Софья Павловна Прокимнова, молодая учительница, дочь священника из соседнего села Кузьминского. Учились в пятом классе одни мальчишки. Я была единственная девочка. Потом к нам в класс пришла еще одна девочка – Редина Маня. Она была моложе всех нас, очень маленького роста.

Однажды Софья Павловна предложила нам во время каникул устроить самостоятельный концерт для ребят. Она хорошо играла на гитаре. Вместе с ней мы разучили хоровые песни, подготовили сцену из «Мертвых душ» – приезд Чичикова к Коробочке. Мне поручили роль Коробочки.

В назначенный день нашего выступления в большом классе устроили сцену, сшили из чего-то занавес. И при открытии занавеса я одна сижу за столом в широкой черной юбке и в кофте с длинным узким рукавом. На голове у меня какой-то белый капор с кружевом. Лицо мне Софья Павловна сделала такое, что мать родная не узнала бы. Публика не скупилась на аплодисменты.

Спектакль был рассчитан только на учеников, но – боже мой! – мужики и бабы торчали на всех подоконниках. Класс был битком набит взрослыми. Ободренные успехом, мы поставили еще два спектакля.

Видя, с каким успехом проходят наши школьные спектакли, молодежь села под руководством Клавдия Петровича Воронцова решила организовать свой кружок самостоятельности. Под зрительный зал была оборудована огромная барская конюшня. Все было хорошо, но в кружок вошли только три девушки. Причем ни одна из них не хотела играть старух. Тогда кружковцы поручили эти роли мне. Моя мать очень удивилась и сначала не хотела пускать меня (мне еще не было и четырнадцати лет), но ребята ее уговорили.

Наши спектакли шли с таким успехом, что нас стали приглашать в другие села. Однажды на репетицию к нам зашел наш деревенский коммунист Мочалин Петр Яковлевич. После репетиции он похвалил нас и предложил всем кружковцам вступить в комсомол. Все согласились, но я не могла сделать этого без разговора с матерью, да и годов мне не хватало.

Мать подумала и сказала:

– Раз такое дело, иди со всеми вместе, а Богу молиться не обязательно в церкви, ты про себя молись, Бог ведь знает, что теперь делается на белом свете.

На каждое комсомольское собрание обязательно приходил Мочалин.

После собрания мы пели песни и, довольные, расходились по домам.

Наши спектакли шли своим чередом.

В октябрьские дни и Первого мая мы, комсомольцы, ходили с флагами по селу, пели «Варшавянку», частушки Демьяна Бедного:

Долой, долой монахов,
Долой, долой попов!

Залезем мы на небо,
Разгоним всех богов.

Бабы качали головами и ругались нам вслед: «Антихристы проклятые!» Мужики молча отворачивались и отходили в сторону при нашем приближении. Но нам в ту пору ничего не было страшно.

1918 год. В селе у нас творилось бог знает что.

– Долой буржуев! Долой помещиков! – несло со всех сторон.

Каждую неделю мужики собираются на сход.

Руководил всем Мочалин Петр Яковлевич, наш односельчанин, рабочий коломенского завода. Во время революции он пользовался в нашем селе большим авторитетом. Наша константиновская молодежь тех лет многим была обязана Мочалину, да и не только молодежь.

Личность Мочалина интересовала Сергея. Он знал о нем все. Позднее Мочалин послужил ему в известной мере прототипом для образа Оглоблина Прона в «Анне Снегиной» и комиссара в «Сказке о пастушонке Пете».

В 1918 году Сергей часто приезжал в деревню. Настроение у него было такое же, как и у всех, – приподнятое. Он ходил на все собрания, подолгу беседовал с мужиками.

Однажды вечером Сергей и мать ушли на собрание, а меня оставили дома. Вернулись они вместе поздно, и мать говорила Сергею:

– Она тебя просила, что ль, заступиться?

– Никто меня не просил, но ты же видишь, что делают? Растащат, разломают все, и никакой пользы, а сохранится целиком, хоть школа будет или амбулатория. Ведь ничего нет у нас! – говорил Сергей.

– А я вот что скажу – в драке волос не жалеют. И добро это не наше, и нечего и горевать о нем.

Наутро пришла ко мне Нюшка.

– Эх ты, чего вчера на собрание не пошла? Интересно было. – И Нюшка, волнуясь, с удовольствием продолжала: – Знаешь, Мочалин говорит: надо буржуйское гнездо разорить так, чтобы духу его не было, а ваш Сергей взял слово – и давай его крыть. Это, говорит, неправильно, у нас нет школы, нет больницы, к врачу за восемь верст ездим. Нельзя нам громить это помещение. Оно нам самим нужно! Ну и пошло у них.

Через год в доме Кашиной была открыта амбулатория, а барскую конюшню переделали в клуб.

Все наши бабы везут своим мужикам в Москву продукты.

И меня мать послала к отцу вместе с бабами. Ехать в Москву надо пароходом, о поезде думать нечего, не сядешь.

Уселись мы в самом проходе, где отдают причал, мест больше нет нигде. Это третий класс. Ветер со всех сторон. Пароход ползет как черепаха. Ночь. Люди спят кто как может, а нам не до сна. Сквозит кругом, замерзли. Сидим на своих продуктах, как совы, сгорбались, глазами хлопаем. До Москвы еще целые сутки плыть.

День кажется невероятно долгим. Наутро следующего дня – Москва. Отец бесконечно рад моему приезду. Теперь каждый месяц я еду с кем-нибудь в Москву с продуктами. Врач советует отцу уехать из Москвы в деревню. Астма и сердце плохое.

– Последний раз съезди и скажи отцу, чтобы ехал домой. Как-нибудь проживем. Люди-то живут, – сказала мне мать.

Теперь отец дома, в Константинове. Он устроился работать в волисполком делопроизводителем. Кроме жалования ему дают тридцать фунтов муки. С хлебом и у нас теперь плохо – неурожай.

В селе у нас организовали комитет бедноты. Председателем выбрали Ивана Владимировича Уколова. Отца выбрали секретарем комитета бедноты.

Мать наша недовольна работой отца в комитете бедноты.

– Это что же? Людям по два-три пуда даешь муки, а мы тридцать фунтов получаем?

– Мы получаем хлеб за мою работу в волости, у нас есть корова, поэтому мы считаемся середняками. Хлеб дают многодетным, беднякам, бескорванным...

Весной организовали коллективный огород на бывших землях федакинского помещика. Я работала вместе с бабами на этом огороде. Отец вел весь учет. Он следил за очередностью работы лошадей, отмечал, кто сколько дней работал, выписывал семена и распределял урожай.

– Вот это хорошее дело, – говорил он, – каждый делает, что может, на что способен. Так жить можно!

Решили купить лошадь и заняться хозяйством. Достали заветный мешочек с деньгами (керенки, что прислал Сергей), сложили кофты, сарафаны и последнее поношенное пальто отца на барашковом меху с каракулевым воротником (подарок купца Крылова со своего плеча). Все это отдали за лошадь. Лошадь привели молодую, красивую. Вскоре выяснилось, что она не любит женщин: только мать подойдет, лошадь прижимает уши и косит глазами. Значит, не подходит – укусит.

– Ох, чтоб тебя вихор поднял! – вздыхала мать.

Поехал отец в косу, хворосту на плетни привезти, лошадь наша до горы довезла, около горы встала – и ни с места. И били, и ругали. Ничто не помогало, пока не подъехала другая лошадь с возом дров. Лошадь с дровами поехала в гору, наша – за ней. Так мы у горы и ждали всегда попутчика. С пустой телегой наша лошадь бежит хоть куда, с возом она не любит сворачивать с дороги, кроме как домой.

Однажды отец послал меня отвезти в поле навоз. До нашей доли я доехала хорошо, но дальше лошадь не пошла. Я отдала ей весь хлеб, что дал мне для нее отец, я била кобылу изо всей мочи кнутом, я ревела и опять била, ничто не помогало – кобыла стоит. Били ее все прохожие мужики и бабы – кобыла ни с места.

– Сваливай, Катя, навоз у дороги, отец сам потом возьмет его, – посоветовал сосед.

Только Маня, так звали кобылу, увидела, что телега пустая, она стала послушной, и я, как на рысаче, примчала домой.

Осень. Все убрали и в поле, и в лугах. Отец с карандашом в руках сидит за тетрадью и что-то колдует.

– Ничего не выходит, – сказал он, поднявшись из-за стола.

– Чего не выходит-то? – спросила мать.

– Не хватит у нас до весны ни хлеба, ни кормов скотине. Надо срочно продавать лошадь. Вот съезжу еще за дровами – и с богом, в Рязань, на базар.

В следующую субботу я с матерью еду на телеге продавать Маню. Завтра базар. Остановились ночевать у своих деревенских. Утром мы на сенном рынке. Рынок большой, лошадей много продают.

– Ты постой тут, а я схожу, приценюсь, почем лошади, – говорит мать.

Ко мне подходят люди, спрашивают, сколько стоит лошадь, но я ничего не могу ответить до матери. Вернувшись, мать назначает цену. Есть покупатель, но он хочет попробовать лошадь, как она ходит в гору.

– Погоди немного, сейчас хозяин придет, – говорит мать покупателю.

Покупатель отходит. Мать думает вслух:

– Как же быть? Может, эта дура с пустой телегой пойдет в гору-то?

Запрягли нашу Маню, ударили кнутом, она и пошла шарахаться в разные стороны, но только не на гору.

Наконец лошадь продали.

Вечер. Отец сидит у окна, не отрывая глаз от улицы. Управится со скотиной – и опять к окну.

– Тоскует о лошади, вот голова-то! – укоризненно говорит мать, когда отец пошел в ригу.

Отец по-прежнему работает секретарем комитета бедноты, это хорошо для него, он хоть какую-то пользу приносит людям, и люди уважают его. К нам часто заходят мужики. Они ведут с отцом беседы о странной, непонятной жизни, иногда просят его написать какое-нибудь ходатайство в сельсовет.

Почтальон Поля Царькова опять прошла мимо наших окон. Значит, ничего у нее для нас нет.

– Хотя бы ты, отец, в Москву к Сергею съездил, что же это – ни слуху ни духу нет от него? – сказала мать.

– Легко сказать – в Москву. Поезда переполнены, а Сергей как ветер, поймаешь ли его в Москве, – говорит отец.

– Поймаешь не поймаешь, ехать надо, – ответила мать. – Может, он больной валяется, а мы тут прохлаждаемся.

Отец уехал в Москву.

Прошло три дня. По пыльной дороге, следом за чьей-то тощей клячей, сгорбившись, шагал наш отец домой.

– Пресвятая Богородица, что же это? Ай что с Сергеем? – испуганно говорит мать, уставясь в окно.

Мы с Шурой тоже прилипли у окна. Никто из нас не вышел отцу навстречу. Лошадь свернула с дороги к нашему дому. Мать как угорелая побежала к отцу.

– Сергей уезжал из Москвы, потому и не отвечал нам, – говорил отец, – а его письмо, должно быть, пропало на почте.

На следующий день мать допрашивала отца:

– Мерингофа-то ты видал?

– Видал, – отвечал отец. – Ничего молодой человек, только лицо длинное, как морда лошади. Кормится он, видно, около нашего Сергея.

В конце лета 1920 года Сергей приехал домой. Это был самый длительный перерыв между его приездами в Константиново.

После бурных дней 1918 года у нас стало тихо, но, как всегда после бури, вода не сразу становится чистой, так и у людей еще много мутного было на душе. Прекратилась торговля, нет спичек, гвоздей, керосина, ниток, ситца. Живи как хочешь. Все обносилось, а купить нигде.

Здоровье отца пошатнулось крепко, душит астма. Он теперь не работает в учреждении, ухаживает за своей скотиной и делает все, что придется, по общественным делам.

За чаем Сергей спрашивает отца:

– Сколько надо присылать денег, чтобы вы по-человечески жили?

– Мы живем, как и все люди, спасибо за все, что присылал, если у тебя будет возможность, пришли сколько сможешь, – ответил отец.

Как на грех, привязался дождь. Вторые сутки хлещет как из ведра. После чая Сергей долго стоял у окна, по стеклу которого струилась дождевая вода. Потом он пошел к

Поповым. Отца Ивана (священника) разбил паралич. Исчезли со стола медовые лепешки, замолкли песни, как вихрем унесло родных и гостей.

Дедушку Сергей застал на печке. Он хворает и ругает власть:

– Безбожники, это из-за них Господь людей карает. Консомол распустили, озорничают они над Богом, вот и живете, как кроты.

У Софроновых подряд умерли дед Вавила и дед Мысей. Мрут люди. У Ерофевны Ванятку убили на фронте. Тимоша Данилин тоже убит на фронте.

На другой день Сергей опять ходил к Поповым и долго беседовал с тетей Капой, она теперь сама топит печку и убирает по дому, но не унывает.

– Не все коту масленица, будет и Великий пост. Вот мы и дожили до поста, – шутила она. – Никто из прежних людей у нас не бывает. Все друзья-приятели до черного дня. Тяжело сейчас всем, не до нас!

На третий день, перед отъездом, Сергей сказал мне, а скорее самому себе:

– Толя говорил, что я ничего не напишу здесь, а я написал стихотворение.

В этот приезд Сергей написал стихотворение «Я последний поэт деревни...».

После обеда я пошла с отцом провожать Сергея на пароход. Шли подгорьем, вдоль берега Оки. Прыгая через лужи, мы смеялись. День прояснился, и на душе стало светло...

Вскоре после отъезда Сергея и я распрощалась с Константиновым. Сергей взял меня к себе в Москву учиться.

1957–1965

А. А. Есенина

«Это все мне родное и близкое»

Я родилась в 1911 году. Мое появление на свет было не особенно обременительным, так как из всех моих старших братьев и сестер осталось в живых только двое – пятнадцатилетний Сергей и пятилетняя Катя.

Из своего детства я помню лишь отдельные эпизоды, примерно лет с четырех.

Я рано научилась петь и пела все, что пела наша мать, а песни ее были самые разнообразные. Очень ясно запомнился мне приезд Сергея в 1915 году. С ним был один из его товарищей, имя которого казалось мне необыкновенным, – Леонид. Я никак не могла решиться выговорить его и обращалась к Леониду: «Эй, ты». Мать делала мне замечания, смеялся Сергей, улыбался Леонид.

В этот приезд свой Сергей привез мне огромный разноцветный мяч в сетке.

Когда я появилась с ним на улице, вся соседская детвора окружила меня и стала просить поиграть. Но где там поиграть! Я сама-то не решалась вынуть его из сетки.

Вышли из дому Сергей и Леонид. Брат, улыбаясь, говорит: «Давай поиграем». Я отдаю ему мяч и с ужасом смотрю, как он забросил его высоко-высоко. Мяч становится маленьким и каким-то темным, летит все выше, и я боюсь, что он не вернется.

Помню приезд Сергея в мае – июне 1917 года. Была тихая, теплая, лунная ночь.

Дома на селе, освещенные полной луной, казались какими-то обновленными, а на белой церковной колокольне четко отпечатались густые узорные тени от ветвей берез. Все спали. Не было видно ни одного освещенного окна, а мы еще сидели за самоваром.

Напившись чая, Сергей вышел погулять и остановился у раскрытого окна. Он был в белой рубашке и серых брюках. С одной стороны его освещала керосиновая лампа, стоявшая на подоконнике, а с другой стороны – луна. В барском саду громко пел соловей. В ночной тишине казалось, он совсем рядом. Захваченный чудесной песней, Сергей стал ему подсвистывать.

Эта картина мне хорошо запомнилась.

До 1921 года Сергей приезжал домой каждое лето, но воспоминания о нем у меня слились воедино. Помню, как к его приезду (если он предупреждал) в доме у нас все чистилось и мылось. Брат был самым дорогим гостем. В нашей тихой, однообразной жизни с его приездом сразу все менялось. Даже сам приезд его был необычным, и не только для нас, а для всех односельчан. Сергей любил подъехать к дому не на едва семенящей лошадке, как приезжали обычно другие, а на лихом извозчике, как тогда говорили, на «лихаче», а то и на паре. Приезжал Сергей, и в доме сразу нарушался обычный порядок: на полу – раскрытые чемоданы, на окнах – книги. Даже воздух в избе становился другим.

На следующий день происходило переселение. «Зал» (большая передняя комната) отводился Сергею для работы, а в амбаре он спал. На его столе, за которым он работал, лежали книги, бумага, карандаши (Сергей редко писал чернилами), стояла настольная лампа с зеленоватым абажуром, пепельница, появлялись букеты цветов.

Остались в моей памяти некоторые песни, которые он, устав сидеть за столом во время работы, напевал, расхаживая по комнате, заложив руки в карманы брюк или скрестив их на груди. Он пел «Дремлют плакучие ивы», «Выхожу один я на дорогу», «Горные вершины», «Вечерний звон».

Помню, как ходил Сергей: легкой, слегка покачивающейся походкой, немного наклонив свою кудрявую голову. Красивый, скромный, тихий, но вместе с тем очень жизнерадостный человек, он одним своим присутствием вносил в дом праздничное настроение.

К отцу и матери он относился всегда с большим уважением. Мать звал коротко – «ма», отца же называл папашей. И мне было как-то странно слышать от Сергея это «папаша», потому что так называли отцов деревенские жители, и даже мы с Катей звали отца папой.

10 мая 1922 года Сергей уехал за границу, а в августе этого же года сгорел наш дом.

Часты и страшны были пожары в наших местах. Усадебные участки очень малы, дома тесно прижимались друг к другу; кое-где можно было увидеть два дома под одной крышей. Крыши преимущественно соломенные, поэтому пожары уничтожали иной раз по несколько десятков домов сразу.

В сухую погоду крестьяне всегда торопятся с уборкой хлеба, и почти все трудоспособное население работает в поле. В такие дни на селе становится тихо и безлюдно.

И вот 3 августа 1922 года в жаркий солнечный день произошел один из самых больших и страшных пожаров, которые мне приходилось видеть.

Нерадивый хозяин, сгружая в ригу снопы, обронил искру от самосада. В течение нескольких минут его рига превратилась в гигантский костер. День был ветреный, и огонь распространялся с такой быстротой, что многие, прибежав с поля, застали свои дома уже дгорающими.

А на следующее утро, с красными глазами от слез и едкого дыма, который курился еще над обуглившимися бревнами, бродили по пожарищам измученные и похудевшие за одну ночь погорельцы.

В это утро по своему пожарищу бродили и мы. Вместо нашего дома остался лишь битый кирпич, кучи золы и груды прогоревшего до дыр, исковерканного и ни на что не пригодного железа.

Мы стаскивали в одну кучу вынесенные из дому наполовину обгоревшие вещи, среди которых были книги и рукописи Сергея (часть их находится сейчас в Институте мировой литературы).

В доме, который сгорел, были проведены самые благополучные и спокойные годы жизни нашей семьи.

Вспоминая нашу прошлую жизнь, мы всегда представляем ее себе именно в этом доме.

Этот дом очень любил наш отец. Выстроенный на деньги, заработанные тяжелым трудом, дом был его единственной собственностью, куда он, прожив всю жизнь в людях, старался вложить каждую копейку.

Более тридцати лет, с тринадцатилетнего возраста до самой революции, отец проработал мясником у купца. Тяжел труд мясника. Нужно обладать большой физической силой, чтобы поднимать мясные туши и целыми днями махать десятифунтовой тупицей, разрубая эти туши на куски.

Во время революции лавка купца Крылова, в которой много лет работал наш отец, перешла в государственную собственность, и отец остался в ней работать продавцом. Но наступила гражданская война. Начался голод, мяса не стало, и лавку закрыли. В городе отцу больше нечего было делать, и он возвратился домой, в деревню.

С молодых лет отец страдал астмой. Домой он вернулся совсем больным человеком.

Нелегко ему было и в деревне. Прожив всю жизнь в городе, приезжая домой только в отпуск, он не знал крестьянской работы, а привыкать к ней в его возрасте было уже нелегко.

Отец наш был худощавый, среднего роста. Светлые волосы и небольшая рыжеватая борода были аккуратно подстрижены и причесаны. В голубых выразительных глазах отца всегда можно было прочесть его настроение. Он не был ласков, редко уделял нам внимание, разговаривал с нами, как со взрослыми, и не допускал никаких непослушаний. Но зато когда у отца было хорошее настроение и он улыбался, то глаза его становились какими-то теплыми и в их уголках собирались лучеобразные морщинки. Улыбка отца была заражающей. Посмотришь на него – и невольно становится весело и тебе.

Иногда отец пел. Он обладал хорошим слухом, и мальчиком лет двенадцати пел дискантом в церковном хоре на клиросе. Теперь у отца был слабый, но очень приятный тенор. Больше всего я любила слушать, когда он пел песню «Паша, ангел непорочный, не ропщи на жребий свой...»

Слова из этой песни у Сергея вошли в «Поэму о 36». В песне поется:

Может статься и случиться,
Что достану я киркой,
Дочь носить будет сережки,
На ручке перстень золотой...

У Сергея эти слова вылились в следующие строки:

Может случиться
С тобой
То, что достанешь
Киркой,
Дочь твоя там,
Вдалеке,
Будет на левой
Руке
Перстень носить
Золотой.

В 1922–1923 годах Сергей был за границей. Без его денежной помощи родители наши построить новый дом не могли. Лишение отцовского заработка, его болезнь и неприспособленность к крестьянской жизни, голод 1920–1921 годов и, наконец, пожар привели наше хозяйство к сильному упадку. А Сергей из-за рубежа не мог помочь нам. В письме к Кате он писал: «Во-первых, Шура пусть этот год будет дома, а ты поезжай учиться. Я тебе буду высылать пайки, ибо денег присылать очень трудно...» И в конце письма: «Отцу и матери тысячи приветов и добрых пожеланий, им я буду высылать тоже посылки...»

Отец с матерью, получив страховку за сгоревший дом, купили старую маленькую шестиаршинную избушку и поставили ее в огороде, с тем чтобы до постройки нового дома иметь хоть какой-нибудь, но свой угол. В этой избушке мы прожили до конца 1924 года, так как строиться начали только после приезда Сергея из-за границы.

Все здесь было бедно и убого. Почти половину избы занимала русская печь. Небольшой стол для обеда, три стула, оставшиеся после пожара, и кровать. Но стоило распахнуть маленькое оконце – и перед глазами вставала чудесная картина: кругом яблоневые и вишневые сады.

Своего яблоневого сада у нас не было. В 1921 году отец купил и посадил несколько молодых яблонек, но во время пожара они все погибли, за исключением одной, которая стояла теперь перед окнами домика. У соседей были прекрасные многолетние сады с раскидистыми яблонями, свешивающими свои ветви в наш огород. У нас же по всему участку росли ползучие вишни, которые доставляли много хлопот нашим родителям, так как им нужна была земля под картошку. Нам, детям, много огорчений приносила вырубка сада и вспахивание его сохой или плугом. В стихотворении «Письмо к сестре» Сергей описывает эти переживания:

Ах, эти вишни!

Ты их не забыла?
И сколько было у отца хлопот,
Чтоб наша тощая
И рыжая кобыла
Выдергивала плугом корнеплод.

Несколько лет в этом маленьком домике мы жили вдвоем: отец, мать и я. Катя жила и училась в Москве. Жизнь у нас шла тихо и однообразно, особенно зимой. Рано ложились спать, рано вставали и принимались за те же дела, что и в предыдущие дни: топили печь, ухаживали за скотом, убирали дом, носили воду. Из-за того, что мы жили на огороде, редко кто из соседей заходил к нам, еще реже мои родители ходили к кому-нибудь из них.

Наша мать была неграмотная и всю жизнь об этом жалела. Уже в пожилом возрасте она пыталась ходить в ликбез, но усталые руки плохо слушались, и, несмотря на большое желание, научилась она только расписываться и едва читать по складам.

Когда мы учились, она следила за тем, чтобы мы делали уроки, но, если мы читали художественную литературу, она ворчала: «Опять пустоту листаешь! Читала бы нужную книжку, а то ерундой занимаешься». И сама же бессознательно прививала нам любовь к литературе. С младенческих лет мы слышали от нее прекрасные сказки, которые она рассказывала нам артистически, а подрастая, узнавали, что песни, которые она пела, зачастую были переложенные на музыку стихи Пушкина, Лермонтова, Никитина и других поэтов.

В мае 1924 года Сергей вновь приехал в Константиново.

Теплый воскресный день уже подходил к концу. Группой в несколько человек мы спустились с горы к перевозу, к коровам.

На полдороге к реке нас догнали соседки, и одна из них, обращаясь ко мне, сказала: – Шура, ваш Сергей приехал. На паре!

Вбежав в дом, я застала радостную суматоху. Мать уже хлопотала у самовара. Так всегда: едва поздоровавшись с приехавшими, она торопится ставить самовар.

Сергей и Катя приехали не одни. Вместе с ними был мужчина лет тридцати пяти, полный, круглолицый, с маленькими смеющимися глазами – Александр Михайлович Сахаров. Кто он, я узнаю позже, а сейчас мне не до него. Я так рада приезду Сергея и Кати, что вижу только их и бросаюсь им на шею.

– А ну-ка, покажись, покажись! Ух, какая ты стала! – восклицает Сергей и, немного отступив, улыбаясь, начинает меня рассматривать и удивляться.

– Вот видишь, какая вымахала, – говорит Катя.

По-видимому, у них был какой-то свой разговор обо мне.

На мое счастье, меня выручает мать, поручая принести из сеней углей для самовара, достать чистое полотенце.

Катя тоже занята делами. Она распаковывает чемоданы, накрывает на стол.

Пока закипает самовар, мужчины сидят, курят, делятся новостями. Новостей много, есть что рассказать и о чем расспросить друг друга. Отца интересует жизнь в Москве, за границей, Сергея – жизнь односельчан.

Со времени его последнего приезда сильно изменился облик села, и особенно изменилась жизнь в нашей семье.

Никогда еще не жили мы так бедно, как теперь, после голода и пожара, и отец с матерью как-то неловко чувствуют себя перед незнакомым приехавшим гостем.

Мать мучает вопрос: где же уложить спать гостя? Но Сергей счастлив, что снова дома, среди родных, и его не смущают ни эта бедность, ни теснота. Лишь позже с большой болью он пишет в стихотворении «Возвращение на родину»:

Как много изменилось там,
В их бедном, неприглядном быте.
Какое множество открытий
За мною следовало по пятам.

Отцовский дом
Не мог я распознать...

В разговорах за чаем не заметили, как прошел вечер. И задача матери решилась легко: мужчины решили спать в риге на сене.

Забрав все овчинные шубы и ватные поддевки, Сахаров, Сергей и отец ушли на ночлег. И, читая строки из поэмы «Анна Снегина», я вспоминаю наши вишневые заросли, маленькую избушку и тот теплый, тихий майский вечер, в который мы были так счастливы.

В этот свой приезд Сергей прожил дома всего лишь несколько дней. Вместе с Сахаровым он уехал в Москву, а оттуда в Ленинград. Июнь и июль Сергей жил в Ленинграде, а в начале августа он снова приехал в Константиново.

Теперь Сергей спал в амбаре. Ему нужно было работать, а в риге нельзя было курить, опасно зажигать лампу. Работал Сергей очень много. Я помню, как часами, почти не разгибаясь, сидел он за столом у раскрытого окна нашей маленькой хибарки. Условия для работы были очень плохие. По существу, их не было совсем. Мы старались не мешать Сергею, но так как дом наш был слишком мал, а амбар служил кладовой, где хранили и платье, и продукты, то поневоле нам приходилось его беспокоить.

Несмотря на трудности, он упорно работал над «Поэмой о 36».

Здесь же им были написаны стихотворения «Отговорила роща золотая», «Возвращение на родину».

Работа, работа, работа... Лишь изредка Сергей устраивает себе отдых, ходит ловить рыбу на Оку. Для этой цели он привез с собой много удочек, поразивших меня своим видом и колокольчиками, привязанными к тонкому кончику каждой из удочек. При малейшем прикосновении колокольчики издавали нежный, серебряный звон.

Как-то я попросила взять меня на рыбалку.

– А ты что, тоже хочешь рыбу ловить? – удивленно спросил он и засмеялся. – Ну что ж, пойдем.

От правил заправских рыбаков мы отступали. Мы не вставали на заре и не ждали вечернего клева. Вечерами Сергей чаще всего работал, очень поздно ложился спать и поэтому поздно вставал. Уходили мы из дому часов в девять-десять, добирались до места и начинали рыбачить уже почти в полдень. Не могли мы похвастаться и хорошим уловом.

Часто в свободные вечера мы втроем выбирались со своего огорода, шли на село, за церковь, на гору. Хорошо на горе тихим лунным вечером! На западе частыми зарницами освещается темное ночное небо, внизу серебрится река, а за покрытыми туманом лугами чернеет вдаль лес.

Особенно мы любили смотреть вечером на проходящие пассажирские пароходы. На темной свинцовой поверхности воды пароходные огни отражаются, как в зеркале. Пароход, идущий вдаль, то скрывается за кустами, растущими на берегах, то за поворотом Оки или за горами, то вновь появляется, и мерный стук его колес становится все слышнее и слышнее. Перед Кузьминским шлюзом, пройдя наш перевоз, пароход подает свисток, звук которого как-то торжественно разносится по лугам, по широкой реке, по береговым ущельям и где-то вдаль замирает.

Глядя на уходящий пароход, испытываешь такое же манящее чувство, как при виде улетающего вдаль косяка журавлей.

Когда пароход войдет в шлюз и огни его сольются с мигающими огнями шлюза, мы уходим на село.

После долгого трудового дня спокойно спит село. Лишь неугомонная молодежь, собравшись около гармониста, где-то в другом конце села поет «страдания», да ночной сторож лениво стучит колотушкой.

Недолго ходим мы по селу молча или разговаривая. Привыкшим жить и работать с песней трудно не петь в такой вечер, и обычно Сергей или Катя начинают тихонько, себе под нос, напевать какую-либо мелодию. А уже если запоет один, то как же умолчать другому! Каждый из нас знает, что поет другой, и невольно начинает подпевать.

Поем мы, как говорят у нас в деревне, складно.

Ближе к полночи расходимся спать, но Сергей еще долго читает. А утром снова каждый за своими делами.

Иногда, оторвавшись от работы, Сергей обсуждал с родителями дальнейшую их жизнь. Выяснял, что им нужно, что требуется от него. Необходимо было решить, что же делать со мной, так как я дважды закончила от нечего делать четвертый класс и год уже не училась.

Однажды ему пришла в голову мысль отдать меня в балетную школу Дункан, вероятно, потому, что там был интернат. Он долго вертел меня из стороны в сторону, рассматривая мои ноги.

Мать не возражала. Ей было трудно разобраться, хорошо это или плохо, так как сам Сергей пошел не по тому пути, который ему указывали, а по другому, не знакомому ей.

В октябрьское утро 1924 года отец привез меня в Москву учиться.

Осенью 1924 года Сергей жил на Кавказе, а Катя временно поселилась у Гали Бениславской в Брюсовском переулке, так как комната в Замоскворечье, которую она снимала у бывших сослуживцев нашего отца, была занята. В этой комнате мы с Катей поселились лишь осенью 1925 года.

Два больших восьмиэтажных корпуса А и Б, носящие название «„дома“ Правды», стояли во дворе дома за номером 2/14.

Квартира, в которой жила Галя, находилась на седьмом этаже. Из широкого венецианского окна Галиной комнаты в солнечные дни вдалеке виднелись Нескучный сад, лесная полоса Воробьевых гор, синевой отливала лента Москвы-реки и золотились купола Новодевичьего монастыря.

Соседи у Гали были все молодые и всем интересующиеся. Очень любили здесь стихи и декламировали их, что называется, на ходу. Например, кто-то куда-то торопится, запаздывает и вдруг начинает читать строчки из полюбившейся всем тогда «Повести о рыжем Мотэле» Иосифа Уткина:

И куда они торопятся,
Эти странные часы.
Ой, как
Сердце в них колотится.
Ой, как косы их усы...

Или, рассказывая о каких-либо неудачах, добавляли строчки из той же поэмы:

Так что же.
Прикажете плакать?

Нет, так нет...

Но больше и чаще всего звучали в нашей квартире стихи Сергея. В это время он то и дело присылал нам с Кавказа все новые и новые свои стихи. Ему в ту пору на Кавказе работалось, по его словам, как никогда хорошо.

25 декабря 1924 года Галя писала Сергею: «От Вас получили из Батуми 3 письма сразу. Стихотворение „Письмо к женщине“ – я с ума сошла от него. И до сих пор брежу им – до чего хорошо!..»

Галина Артуровна Бениславская, или просто Галя, как звали ее мы, была молодая, среднего роста, с густыми длинными черными косами и черными густыми сросшимися бровями над большими зеленовато-серыми глазами.

Жили мы мирно, и каждый из нас занимался своими делами.

Вечерами Галя приносила иногда домой из редакции «Бедноты», где она работала, много писем, присланных читателями-крестьянами. Писем этих было так много, что они не умещались на нашем столе, и Галя располагалась с ними на полу, а я с удовольствием помогала ей читать их. Прочитав письмо, я коротко пересказывала Гале содержание его, и она синим или красным карандашом в верхнем углу ставила номер отдела, в который оно направлялось.

Зимой из Ленинграда к Гале приезжала в гости ее тетя, Нина Поликарповна, у которой Галя воспитывалась. Нина Поликарповна привезла в подарок Гале красивую деревянную коробку, старинную тюлевую штору и маленький пузатый самовар.

Все эти вещи нам оченьгодились.

Коробку сразу же приспособили под косметические принадлежности. А когда в конце февраля 1925 года Сергей приехал с Кавказа, пошел в ход и самовар. За этим самоваром Сергей сфотографирован с нашей матерью. Снимок был сделан у нас в Брюсовском переулке в марте 1925 года. Мать тогда приезжала навестить нас, и Сергей во время их мирного чаепития читал ей поэму «Анна Снегина».

Мать, как всегда, слушала чтение Сергея с затаенным дыханием, никогда не перебивая его, ни о чем не спрашивая. Неграмотная, она отлично понимала и глубоко чувствовала стихи сына и многие из них запоминала при его чтении наизусть.

Гале очень нравилась эта семейная жизнь. Только теперь она поняла, что такое семья для Сергея, у которого очень сильно было чувство кровного родства. Его всегда тянуло к нам, к своей семье, к домашнему очагу, к теплу родного дома, к уюту.



Е. А. Есенина и А. А. Есенина

Сергея всегда тяготила семейная неустроенность, отсутствие своего угла, которого он, в сущности, так и не имел до конца своей жизни...

Зато много было у Сергея рано свалившихся на него забот о нас, близких ему людях.

Отец, переехавший после революции жить в деревню, не мог прокормить себя и свою семью. К этому еще голод, затем пожар в 1922 году. Жилось нам трудно, и забота о нас легла на плечи Сергея.

Кроме того, с переездом в деревню отца Сергею пришлось взять на свое иждивение Катю, которая в это время училась в Москве, быть ее наставником. А ведь этому «наставнику» и самому-то было 23–25 лет! Но он исключительно добросовестно о ней заботился.

Сергей на Кавказе очень много работает, и в то же время он думает и беспокоится о нас. 12 декабря он пишет Гале: «...Я очень соскучился по Москве, но как подумаю о холоде, прихожу в ужас. А здесь тепло, светло, но не радостно, потому что я не знаю, что со всеми вами. Напишите, как, где живет Шура. Как Екатерина и что слышно с домом...»

И так все время. Бесконечные заботы о нас с сестрой, о деньгах, которыми он должен был обеспечить всех близких. Почти в каждом письме к Гале давались указания, где можно и нужно получить для нас деньги, или высылались новые стихи, с тем чтобы их напечатать где-либо и получить за них для нас гонорар.

В том же 1924 году Сергей взял из деревни в Москву и нашего двоюродного брата Илью. Илье было лет 20, родители у него умерли, и в деревне жить ему было трудно. Теперь Илья учился в рыбном техникуме, жил в общежитии, но больше всего находился у нас, прижился в нашей семье, был привязан к Сергею и стал, в сущности, членом нашей семьи. В общежитие он уходил ночевать, да и то только потому, что у нас в Брюсовском уже некуда было положить лишнего человека – даже на полу.

Словом, все мы являлись для Сергея обузой немалой. Но он безропотно нес этот крест. И если, случалось, срывался, то в таких случаях, как правило, роль громоотвода выполняла Катя. Она была для него своим, близким человеком, занималась издательскими делами Сергея.

Характер у Сергея был неровный, вспыльчивый. Но, вспыхнув, он тотчас же отходил – сердиться долго не мог.

В нашем доме не терпели таких уменьшительно-ласкательных слов, как «милочка», «душенька», а слово «голубушка» чаще произносилось в минуты раздражения. Но вот подойдет Сергей и мимоходом, молча положит руку тебе на плечо или на шею, и от прикосновения этой руки становилось так тепло, как не было нам тепло ни от какого ласкательного слова.

Сергей был всегда подтянутым, собранным, опрятным. Любил хорошо, со вкусом одеться. Любил чистоту и порядок в доме, на своем рабочем столе. Впрочем, если говорить в прямом смысле, то рабочего стола у него не было. В нашей маленькой комнате в Брюсовском переулке он писал стихи за ломберным или за обеденным столом.

Сергей был человеком общительным, любил людей, и около Сергея их всегда было много.

Редкий день проходил у нас без посторонних людей. В конце февраля 1925 года Сергей приехал в Москву с Кавказа всего лишь на один месяц, но за этот месяц у нас перебывало столько людей, сколько к другому не придет и за год.

В основном это были поэты и писатели, с которыми Сергей дружил в последние годы: Петр Орешин, Всеволод Иванов, Борис Пильняк, Василий Наседкин, Иван Касаткин, Владимир Кириллов и многие-многие другие писатели, издатели, художники, артисты.

Вокруг Сергея всегда царило оживление. И все окружающие его близкие ему люди невольно жили его интересами, а подчас и настроениями. Захотелось Сергею в театр – и все, кто был около него в эту минуту, охотно шли за ним.

По вечерам у нас часто читались стихи, шли жаркие споры о литературе. Пелись хором песни.

Почти все песни, которые мы пели, были грустные, протяжные. Очень любил Сергей песню «Прощай жизнь, радость моя...» и часто заставлял нас с сестрой петь ее. Была у него еще одна любимая песня – «Это дело было летнею порою».

Знатоки и любители русской народной песни находились и среди наших гостей. Среди них выделялся своим глуховатым тенором Василий Наседкин. Как сейчас, вижу его, подпервшего щеку рукою, полузакрывшего глаза. И, как сейчас, слышу негромкую, полную то тревожной, то светлой печали протяжную песню оренбургских казаков «Молодка, молодка, молоденькая...».

Сергей был очень подвижным человеком, был горазд на всевозможные выдумки, умел и любил шутить.

В одной квартире с нами жила молодая одинокая женщина-врач. Она часто проводила со мной целые вечера за раскрашиванием картинок. Рисовать мы с ней обе не умели и обычно сводили контуры с какой-нибудь картинки из книги, а потом раскрашивали красками. Раскрашивали же мы довольно неплохо.

Из нашей комнаты в ее вела дверь, завешенная огромным шелковым шарфом. С этим шарфом когда-то танцевала Дункан.

Как-то раз, придя из школы, я увидела, что к шарфу, висевшему на двери, приколоты все мои рисунки и длинный лист бумаги с надписью синим карандашом: «Выставка А. Есениной», а ниже, на другом листе, красным карандашом извещалось: «Все продано».

Оказалось, что, пока я была в школе, Сергей нашел все мои рисунки и устроил эту выставку.

Надписи к этой «выставке» у меня сохранились.

Очень много Сергей читал. Он внимательно следил за всеми литературными новинками. На ломберном столике, на тумбочке у нас всегда лежали помимо книг последние номера журналов «Красная новь», «Красная нива», «Прожектор», альманах «Круг».

Иногда к нему приходили начинающие поэты, и он охотно и живо подолгу с ними разговаривал.

Были у нас и трудные дни. То случалось в пору, когда Сергей встречался со своими «друзьями». Катя и Галя всячески старались оградить Сергея от них и в дом их не пускали, но они разыскивали Сергея в издательствах, в редакциях, и, как правило, такие встречи оканчивались выпивками.

В середине июня 1925 года Сергей женился на Софье Андреевне Толстой-Сухотиной – внучке Льва Николаевича Толстого – и переехал к ней на квартиру в Померанцевом переулке.

С переездом Сергея к Софье Андреевне сразу же резко изменилась окружающая его обстановка. После квартиры в Брюсовском переулке здесь ему было неуютно и нерадостно.

И чуть ли не в первые дни женитьбы он пишет Вержбицкому: «С новой семьей вряд ли что получится, слишком все здесь заполнено „великим старцем“, его так много везде: и на столах, и в столах, и на стенах, кажется, даже на потолках, – что для живых людей места не остается. И это душит меня...» Сергей очень любил уют, «уют свой, домашний», где каждую вещь можно передвинуть и поставить, как тебе нужно, не любил завешанных портретами стен. В этой же квартире, казалось, вещи приросли к своим местам и давили своей многочисленностью.

В первой половине июля 1925 года Сергей уехал в деревню, или, как мы говорили, домой⁵. Дома он прожил около недели. В это время шел сенокос, стояла тихая, сухая погода,

⁵ Есенин находился в Константинове с 10 до 16 июля.

и Сергей почти ежедневно уходил из дому то на сенокос к отцу, где помогал ему косить, то уезжал с рыбацкой артелью километров за пятнадцать от нашего села ловить рыбу. Эта поездка с рыбаками и послужила поводом к написанию стихотворения «Каждый труд благослови, удача», которое было написано там же, в деревне, в нашем амбаре, приютившемся в вишневом саду.

Находясь в этот последний свой приезд в деревне, Сергей написал и стихотворение «Видно, так заведено навеки...», относящееся к событиям, связанным с его жизнью с С. А. Толстой.

Кольцо, о котором говорится в стихотворении, действительно Сергею на счастье вынул попугай незадолго до его женитьбы на Софье Андреевне. Шутя Сергей подарил это кольцо ей. Это было простое медное кольцо очень большого размера.

В конце июля Сергей и Соня уехали на Кавказ и вернулись в начале сентября.

Но не таким вернулся Сергей с Кавказа, каким он приехал оттуда весной. Тогда он был бодрым, помолодевшим, отдохнувшим, несмотря на то что много работал. Трудно перечислить все, что им было написано за несколько месяцев пребывания на Кавказе. Но работа не утомила его, а, наоборот, прибавила ему энергии, окрылила его. Теперь же он вернулся таким же, каким и уехал: усталым, нервным, крайне раздраженным.

В квартире стояла какая-то настороженная тишина. Вечера мы проводили одни, без посторонних людей: Сергей, Соня, Катя, я и Илья. Иногда к нам заходил Василий Федорович Наседкин. В то время он ухаживал за Катей. Его любил Сергей, и Наседкин был у нас своим человеком. Даже 18 сентября, в день регистрации брака Сергея и Сони, у нас не было никого посторонних. Были все те же Илья и Василий Федорович.

Осенью 1925 года Сергей очень много работал. Он уставал и нервничал. Отношения с Соней у него в это время не ладились. И он был рад, когда мы, сестры, приходили к нему. С Катей он мог посоветоваться, поделиться своими радостями и горестями, а ко мне он относился как к ребенку, ласково и нежно.

В один из сентябрьских дней Сергей предложил Соне и мне покататься на извозчике. День был теплый, тихий.

Лишь только мы отъехали от дома, как мое внимание привлекли кошки. Уж очень много их попадалось на глаза. Столько кошек мне как-то не приходилось встречать раньше, и я сказала об этом Сергею. Сначала он только улыбнулся и продолжал спокойно сидеть, погруженный в какие-то размышления, но потом вдруг громко рассмеялся. Мое открытие показалось ему забавным, и он тотчас же превратил его в игру, предложив считать всех кошек, попадавшихся нам на пути.

Путь от Остоженки до Театральной площади довольно длинный, особенно когда едешь на извозчике. И мы принялись считать. Это занятие нас всех развеселило, а Сергей увлекся им, пожалуй, больше, чем я. Завидев кошку, он вскакивал с сиденья и, указывая рукой на нее, восклицал: «Вон, вон еще одна!»

Мы так беззаботно и весело хохотали, что даже угрюмый извозчик добродушно улыбался.

Когда мы доехали до Театральной площади, Сергей предложил зайти пообедать. И вот я первый раз в ресторане. Швейцары, ковры, зеркала, сверкающие люстры – все это поразило и ошеломило меня. Я увидела себя в огромном зеркале и оторопела: показалась такой маленькой, неуклюжей, одета по-деревенски и покрыта красивым, но деревенским платком. Но со мной Соня и Сергей. Они ведут себя просто и свободно. И, уцепившись за них, я шагаю к столику у колонны. Сидя за столом и видя мое смущение, Сергей все время улыбался, и, чтобы окончательно смутить меня, проговорил: «Смотри, какая ты красивая, как все на тебя смотрят...»

Я огляделась по сторонам и убедилась, что он прав. Все смотрели на наш столик. Тогда я не поняла, что смотрели-то на него, а не на меня, и так смутилась, что уж и не помню, как мы вышли из ресторана.

А на следующий день Сергей написал и посвятил мне стихи: «Ах, как много на свете кошек, нам с тобой их не счесть никогда...» и «Я красивых таких не видел...».

Однажды Сергей встретил меня с довольной улыбкой и сразу же потащил в коридор к вешалке.

– Пойди посмотри, какое я пальто купил, – говорил он, натягивая пальто на себя.

Я осмотрела Сергея со всех сторон, и пальто мне не понравилось. Я привыкла видеть брата в пальто свободного покроя, а это было двубортное, с хлястиком на спине. Пальто такого фасона только входило в моду, но именно фасон-то мне и не нравился.

– Ну и пальто! Ты же в нем похож на милиционера, – не задумываясь, высказала я свое удивление.

– Вот дурная! Ты же ничего не понимаешь, – с досадой ответил он.

Разочарованный, Сергей вернулся в комнату и о пальто не сказал больше ни слова.

С этим пальто у меня связано еще одно воспоминание. Это было уже в октябре. Все чаще и чаще шли дожди. В такую пору я однажды явилась к Сергею в сандалиях. У него были Сахаров и Наседкин. Я почувствовала себя неудобно и тихонько уселась на диване, стараясь убрать под него ноги.

Но мое необычное поведение не ускользнуло от внимания Сергея, и он, приглядываясь ко мне, понял, почему я притихла.

– Подожди, подожди. Почему ты ходишь в сандалиях? Ведь уже холодно!

Пришлось сознаться, что ботинки, которые мне купили весной, стали малы.

– Так чего ж ты молчала? Надо купить другие.

И, словно обрадовавшись появившейся причине выбраться из дому, он предложил пойти всем вместе и купить мне ботинки.

Возражений не было, мы отправились в магазин «Скороход» в Столешниковом переулке. Из магазина я вышла уже в новых «румынках» на среднем каблуке. Довольная такой обновкой, я шла не чуя под собой ног.

Настроение было у всех хорошее, никому не хотелось возвращаться сразу домой, и мы решили немножко погулять. Спускаясь вниз по Столешникову переулку, все подшучивали надо мной, расхваливая мои ботинки. Катя с Сахаровым разыгрывали влюбленных. Так с шутками и смехом мы дошли до фотографии Сахарова и Орлова, и тут кто-то предложил зайти сфотографироваться. В таком настроении мы и засняты. Сахаров обнимает Катю, а мы с Сергеем играем в «сороку».

На одном из снимков Сергей в шляпе и в том пальто, о котором шла речь выше. Эти снимки оказались последними в жизни Сергея.

В 1925 году мне было четырнадцать лет, но в семье меня все считали еще ребенком. Такое отношение ко мне было и у Сергея. Я помню, как, написав поэму «Черный человек» и передавая рукопись Кате, он сказал ей: «Шуре читать эту вещь не нужно».

Оберегая меня, мне многого не говорили, скрывая от меня разные неприятности, и я многого не знала. Не знала я и того, что между Сергеем и Соней идет разлад. Когда я приходила к ним, в доме было тихо и спокойно, только скучно. Видела, что Сергей чаще стал уходить из дому, возвращался нетрезвым и придирался к Соне. Но я не могла понять, почему он к ней придирается, так как обычно в таком состоянии Сергей придирался к людям, которые его раздражали, и для меня было большой неожиданностью, когда, после долгих уговоров сестры, Сергей согласился лечь в клинику лечиться, но запретил Соне приходить к нему.

26 ноября Сергей лег в клинику для нервных больных, помещавшуюся на Б. Пироговской улице, в Божениновском переулке. Ему отвели отдельную хорошую светлую комнату на втором этаже, перед окном которой стояли в зимнем уборе большие деревья. Ему разрешили ходить в своей пижаме, получать из дома обеды. Иногда обеды ему носила Катя, но в основном это была моя обязанность.

В клинике с первых же дней Сергей начал работать. Без работы, без стихов он не мог жить.

В один из воскресных дней зашли навестить Сергея Анатолий Мариенгоф и его жена Никритина, артистка Камерного театра. Я впервые видела их, так как долгое время Сергей с Мариенгофом были в ссоре и лишь незадолго до того они помирились. Сергей не ждал их прихода и был смущен и немного нервничал. Разговор у них как-то не вязался, и Сергей вдруг стал жаловаться на больничные порядки, говорил, что он хочет работать, а в такой обстановке работать очень трудно.

Условия в клинике действительно были для него тяжелы. Здесь всю ночь не гасили свет в комнатах и двери палат всегда были распахнуты настежь. Особенно тяжелы для Сергея были дни посещений, так как его комната была рядом с входной дверью в отделение и все навещающие больных проходили мимо его комнаты и заглядывали к нему.

Лечение в клинике было рассчитано на два месяца, но уже через две недели Сергей сам себе наметил, что не пробудет здесь более месяца. Здесь же он принял решение не возвращаться к Толстой и уехать из Москвы в Ленинград.

7 декабря он послал телеграмму ленинградскому поэту В. Эрлиху: «Немедленно найди две-три комнаты. 20 числа переезжаю жить Ленинград. Телеграфируй. Есенин».

По его планам, в эти две-три комнаты вместе с ним должны были переехать и мы с Катей.

19 декабря Катя и Наседкин зарегистрировали свой брак в загсе и сразу же сообщили об этом Сергею. Сергей был обрадован такой вестью. Он был привязан к Василию Федоровичу и сам всегда советовал сестре выйти за него замуж.

И тогда же ими всеми вместе было принято решение, что и Наседкин поедет в Ленинград и будет жить вместе с нами. Там же, в Ленинграде, было решено отпраздновать их свадьбу.

Под предлогом каких-то дел 21 декабря Сергей ушел из клиники. Случаи, когда по делам Сергея выпускали из клиники, были и раньше, но он в тот же день возвращался обратно. На этот раз он не вернулся. Не пришел он и домой. Дома было тревожно, ждали его каждую минуту.

Два дня Сергей ходил по редакциям и издательствам по делам и проститься с друзьями. Вечерами же был в клубе дома Герцена.

23 декабря под вечер мы сидели втроем у Сони: она, Наседкин и я. Часов в 7 вечера пришел Сергей с Ильей. Он был злой. Ни с кем не здороваясь и не раздеваясь, он сразу же прошел в другую комнату, где были его вещи, и стал торопливо все складывать. Уложенные вещи Илья с помощью извозчиков вынес из квартиры. Сказав всем сквозь зубы «до свиданья», вышел из квартиры и Сергей, захлопнув за собой дверь.

Мы с Соней сразу же выбежали на балкон. Был тихий, теплый вечер. Большими хлопьями, лениво кружась, падал пушистый снежок. Сквозь него было видно, как у парадного подъезда Илья и два извозчика устанавливали на санки чемоданы. Снизу отчетливо доносились голоса отъезжающих.

Я видела, как уселся Сергей на вторые санки. И вдруг у меня к горлу подступили спазмы. Не знаю, как теперь мне объяснить тогдашнее мое состояние, но я почему-то вдруг крикнула:

– Прощай, Сергей!

Подняв голову, он вдруг улыбнулся мне своей светлой, милой улыбкой и помахал рукой.

Пушистый снежок тихо падал и падал, запорашивая шапку и меховой воротник распахнутой шубы Сергея.

Таким я видела Сергея в последний раз.

1965

А. Р. Изряднова Воспоминания

Познакомилась я с С. А. Есениным в 1913 году, когда он поступил на службу в типографию товарищества И. Д. Сытина в качестве подчитчика (помощника корректора). Он только что приехал из деревни, но по внешнему виду на деревенского парня похож не был. На нем был коричневый костюм, высокий накрахмаленный воротник и зеленый галстук. С золотыми кудрями он был кукольно красив, окружающие по первому впечатлению окрестили его вербочным херувимом. Был очень заносчив, самолюбив, его невзлюбили за это. Настроение было у него угнетенное: он поэт, а никто не хочет этого понять, редакции не принимают в печать. Отец журит, что занимается не делом, надо работать, а он стишки пишет. Был у него друг, Гриша Панфилов (умер в 1914 году), писал ему хорошие письма, ободрял его, просил не бросать писать.

Ко мне он очень привязался, читал стихи. Требователен был ужасно, не велел даже с женщинами разговаривать – они нехорошие. Посещали мы с ним университет Шанявского. Все свободное время читал, жалованье тратил на книги, журналы, нисколько не думая, как жить.

Первые стихи его напечатаны в журнале для юношества «Мирок» за 1913–1914 годы⁶.

В типографии Сытина работал до середины мая 1914 года. «Москва неприветливая – поезде в Крым». В июне он едет в Ялту, недели через две должна была ехать и я, но так и не смогла поехать. Ему не на что было там жить. Шлет мне одно другого грознее письма; что делать, я не знала. Пошла к его отцу просить, чтобы выручил его, отец не замедлил послать ему денег, и Есенин через несколько дней в Москве. Опять безденежье, без работы, живет у товарищей.

В сентябре поступает в типографию Чернышева-Кобелькова, уже корректором. Живем вместе около Серпуховской заставы, он стал спокойнее. Работа отнимает очень много времени: с восьми утра до семи часов вечера, некогда стихи писать. В декабре он бросает работу и отдается весь стихам, пишет целыми днями. В январе печатаются его стихи в газете «Новь», журналах «Парус», «Заря» и других.

В конце декабря у меня родился сын. Есенину пришлось много канителиться со мной (жили мы только вдвоем). Нужно было меня отправить в больницу, заботиться о квартире. Когда я вернулась домой, у него был образцовый порядок: везде вымыто, печи истоплены и даже обед готов и куплено пирожное: ждал. На ребенка смотрел с любопытством, все твердил: «Вот я и отец». Потом скоро привык, полюбил его, качал, убаюкивая, пел над ним песни. Заставлял меня, укачивая, петь: «Ты пой ему больше песен». В марте поехал в Петроград искать счастья. В мае этого же года приехал в Москву, уже другой. Был все такой же любящий, внимательный, но не тот, что уехал. Немного побыл в Москве, уехал в деревню, писал хорошие письма. Осенью опять заехал: «Еду в Петроград». Звал с собой... Тут же говорил: «Я скоро вернусь, не буду жить там долго».

В январе 1916 года приехал с Клюевым. Сшили они себе боярские костюмы – бархатные длинные кафтаны; у Сергея была шелковая голубая рубаша и желтые сапоги на высоком каблуке, как он говорил: «Под пятой, пятой хоть яйцо кати». Читали они стихи в лазарете имени Елизаветы Федоровны, Марфо-Марьиной обители и в «Эстетике». В «Эстетике» на них смотрели как на диковинку...

⁶ В январском номере детского журнала «Мирок» в 1914 г. под псевдонимом «Аристон» было опубликовано стихотворение Есенина «Береза». Это его первая известная публикация.

В сентябре 1925 года пришел с большим белым свертком в 8 часов утра, не здороваясь, обращается с вопросом:

– У тебя есть печь?

– Печь, что ли, что хочешь?

– Нет, мне надо сжечь.

Стала уговаривать его, чтобы не жег, жалеть будет после, потому что и раньше бывали такие случаи: придет, порвет свои карточки, рукописи, а потом ругает меня – зачем давала. В этот раз никакие уговоры не действовали, волнуется, говорит: «Неужели даже ты не делаешь для меня то, что я хочу?»

Повела его в кухню, затопила плиту. И вот он в своем сером костюме, в шляпе стоит около плиты с кочергой в руке и тщательно смотрит, как бы чего не осталось несожженным. Когда все сжег, успокоился, стал чай пить и мирно разговаривать. На мой вопрос, почему рано пришел, говорит, что встал давно, уже много работал.

...Видела его незадолго до смерти. Сказал, что пришел проститься. На мой вопрос: «Что? Почему?» – говорит: «Смываюсь, уезжаю, чувствую себя плохо, наверное, умру». Просил не баловать, беречь сына.

<1926>

Т. С. Есенина Зинаида Николаевна Райх

Имя Зинаиды Николаевны Райх редко упоминается рядом с именем Сергея Есенина. В годы революции личная жизнь поэта не оставляла прямых следов в его творчестве и не привлекала к себе пристального внимания.

Актриса Зинаида Райх хорошо известна тем, кто связан с историей советского театра, ее сценический путь прослеживается месяц за месяцем. Но до 1924 года такой актрисы не существовало (свою первую роль она сыграла в возрасте 30 лет). Образ молодой Зинаиды Николаевны Есениной, жены поэта, трудно восстановить документально. Ее небольшой личный архив пропал в годы войны. До того возраста, когда охотно делятся воспоминаниями, Зинаида Николаевна не дожила. Я не много знаю из рассказов матери.

Мать была южанкой, но к моменту встречи с Есениным уже несколько лет жила в Петербурге, сама зарабатывала на жизнь, посещала Высшие женские курсы. Вопрос «кем быть?» не был еще решен. Как девушка из рабочей семьи, она была собрана, чужда богеме и стремилась прежде всего к самостоятельности.

Дочь активного участника рабочего движения, она подумывала об общественной деятельности, среди ее подруг были побывавшие в тюрьме и ссылке. Но в ней было и что-то мягущееся, был дар потрясаться явлениями искусства и поэзии. Какое-то время она брала уроки скульптуры. Читала бездну. Одним из любимых ее писателей был тогда Гамсун, что-то было близкое ей в странном чередовании сдержанности и порывов, свойственном его героям.

Она и всю жизнь потом, несмотря на занятость, много и жадно читала, а перечитывая «Войну и мир», кому-нибудь повторяла: «Ну как же это он умел превращать будни в сплошной праздник?»

Весной 1917 года Зинаида Николаевна жила в Петрограде одна, без родителей, работала секретарем-машинисткой в редакции газеты «Дело народа». Есенин печатался здесь. Знакомство состоялось в тот день, когда поэт, кого-то не застав, от нечего делать разговорился с сотрудницей редакции.

А когда человек, которого он дожидался, наконец пришел и пригласил его, Сергей Александрович, со свойственной ему непосредственностью, отмахнулся:

– Ладно уж, я лучше здесь посижу...

Зинаиде Николаевне было 22 года. Она была смешлива и жизнерадостна.

Есть ее снимок, датированный 9 января 1917 года. Она была женственна, классически безупречной красоты, но в семье, где она росла, было не принято говорить об этом, напротив, ей внушали, что девушки, с которыми она дружила, «в десять раз красивее».

Со дня знакомства до дня венчания прошло примерно три месяца. Все это время отношения были сдержанными, будущие супруги оставались на «вы», встречались на людях. Случайные эпизоды, о которых вспоминала мать, ничего не говорили о сближении.

В июле 1917 года Есенин совершил поездку к Белому морю («Небо ли такое белое или солью выпцвела вода?»), он был не один, его спутниками были двое приятелей (увы, не помню их имен⁷) и Зинаида Николаевна. Я никогда не встречала описаний этой поездки.

⁷ Слова «не помню их имен» справедливы для того времени, когда эта статья печаталась в сб. «Есенин и современность» (изд. во «Современник», 1975). Теперь я могу назвать одного из спутников – это был приятель моего отца поэт А. А. Ганин. Эта фамилия не «всплыла» в памяти сама собой. В ЦГАЛИ хранится план воспоминаний моей матери о Есенине. Воспоминания написаны не были, а с планом я познакомилась сравнительно недавно. Ганин упомянут в том пункте, где речь идет о поездке к Белому морю.

Уже на обратном пути, в поезде, Сергей Александрович сделал матери предложение, сказав громким шепотом:

– Я хочу на вас жениться.

Ответ: «Дайте мне подумать» – его немного рассердил. Решено было венчаться немедленно. Все четверо сошли в Вологде. Денег ни у кого уже не было. В ответ на телеграмму: «Вышли сто, венчаюсь» – их выслали из Орла, не требуя объяснений, отец Зинаиды Николаевны. Купили обручальные кольца, нарядили невесту. На букет, который жениху надлежало преподнести невесте, денег уже не было. Есенин нарвал букет полевых цветов по пути в церковь – на улицах всюду пробивалась трава, перед церковью была целая лужайка⁸.

Вернувшись в Петроград, они некоторое время жили врозь, и это не получилось само собой, а было чем-то вроде дани благоразумию. Все-таки они стали мужем и женой, не успев опомниться и представить себе хотя бы на минуту, как сложится их совместная жизнь. Договаривались поэтому друг другу «не мешать». Но все это длилось недолго, они вскоре поселились вместе, больше того, отец пожелал, чтобы Зинаида Николаевна оставила работу, пришел вместе с ней в редакцию и заявил:

– Больше она у вас работать не будет.

Мать всему подчинилась. Ей хотелось иметь семью, мужа, детей. Она была хозяйственна и энергична.

Душа Зинаиды Николаевны была открыта навстречу людям. Помню ее внимательные, все замечающие и все понимающие глаза, ее постоянную готовность сделать или сказать приятное, найти какие-то свои, особые слова для поощрения, а если они не находились – улыбка, голос, все ее существо договаривали то, что она хотела выразить. Но в ней дремали вспыльчивость и резкая прямота, унаследованные от своего отца.

Первые ссоры были навеяны поэзией. Однажды они выбросили в темное окно обручальные кольца (Блок – «Я бросил в ночь заветное кольцо») и тут же помчались их искать (разумеется, мать рассказывала это с добавлением: «Какие же мы были дураки!»). Но по мере того как они все ближе узнавали друг друга, они испытывали порой настоящие потрясения. Возможно, слово «узнавали» не все исчерпывает – в каждом время раскручивало свою спираль. Можно вспомнить, что само время все обостряло.

С переездом в Москву кончились лучшие месяцы их жизни. Впрочем, вскоре они на некоторое время расстались. Есенин отправился в Константиново, Зинаида Николаевна ждала ребенка и уехала к своим родителям в Орел...

Я родилась в Орле, но вскоре мать уехала со мной в Москву, и до одного года я жила с обоими родителями. Потом между ними произошел разрыв, и Зинаида Николаевна снова уехала со мной к своим родным. Непосредственной причиной, видимо, было сближение Есенина с Мариенгофом, которого мать совершенно не переваривала. О том, как Мариенгоф относился к ней, да и вообще к большинству окружающих, можно судить по его книге «Роман без вранья».

Спустя какое-то время Зинаида Николаевна, оставив меня в Орле, вернулась к отцу, но вскоре они опять расстались...

Осенью 1921 года она стала студенткой Высших театральных мастерских. Училась не на актерском отделении, а на режиссерском, вместе с С. М. Эйзенштейном, С. И. Юткевичем.

С руководителем этих мастерских – Мейерхольдом – она познакомилась, работая в Наркомпросе. В прессе тех дней его называли вождем «Театрального Октября». Бывший режиссер петербургских императорских театров, коммунист, он тоже переживал как бы второе рождение. Незадолго перед этим он побывал в Новороссийске в белогвардейских застенках, был приговорен к расстрелу и месяц провел в камере смертников.

⁸ Венчание состоялось 30 июля 1917 г. в Кирико Иулиттовской церкви Вологодского уезда.

Летом 1922 года два совершенно незнакомых мне человека – мать и отчим – приехали в Орел и увезли меня и брата от деда и бабушки. В театре перед Всеволодом Эмильевичем многие трепетали. Дома его часто приводил в восторг любой пустяк – смешная детская фраза, вкусное блюдо. Всех домашних он лечил – ставил компрессы, вынимал занозы, назначал лекарства, делал перевязки и даже инъекции, при этом сам себя похваливал и любил себя называть «доктор Мейерхольд».

Из тихого Орла, из мира, где взрослые говорили о вещах, понятных четырехлетнему ребенку, мы с братом попали в другой мир, полный загадочного кипенья. Я принадлежала к тому многочисленному сонму девочек, которые непрестанно подпрыгивают и мечтают о балете. Но, несмотря на все свое легкомыслие, тосковала по Орлу и не переставала удивляться людям, которые могут часами говорить о непонятном. Мать была из их числа, я к ней еще не привыкла и ничем с ней не делилась. А «почемучный» возраст брал свое, и, не решаясь ежесекундно почему-то, я решила своими силами выяснить, о чем Мейерхольд подолгу говорил со своими помощниками. Как-то я заранее приготовила себе скамеечку, чтобы спокойно посидеть и уловить начало разговора, – я вообразила, что тогда сумею распутать всю нить. Увы, в самый ответственный момент меня что-то отвлекло, и опыт не удался.

Внутренняя лестница вела из нашей квартиры в нижний этаж, где располагались и театральное училище и общежитие. Можно было спуститься вниз и поглазеть на занятия по биомеханике. Временами вся наша квартира заполнялась десятками людей, и начиналась читка или репетиция. За обедом мать заливалась смехом, вспоминая какую-нибудь реплику из пьесы. Она была вся в приподнятом настроении, с утра до ночи на ногах – каждая минута ее была чем-то заполнена. К нам вскоре перебралась родня из Орла, в доме всегда кто-то подолгу гостил, Зинаида Николаевна возглавила хозяйство многолюдного дома, налаживала режим. Квартира, лишенная поначалу самого необходимого, стала быстро приобретать жилой вид. Мать успевала даже сочинить для детей специальное «меню» и вывесить его в детской. Рано выучившись читать и вечно страдая отсутствием аппетита, я с тоской глядела на это «меню» и, прочитав строчку вроде: «8 час. вечера – чай с печеньем», заранее принималась есть: «Я не хочу печенья». В Москве нас быстро избаловали. Позднее нам наняли учителей и стали приучать к дисциплине. А куда мы полдня проводили с нянькой на бульваре.

Адрес наш, по старой памяти, звучал еще так: «Новинский бульвар, тридцать два, дом бывший Плевако». В свое время и наш дом и несколько соседних строений были собственностью знаменитого адвоката. Когда в 1927 году у нас случился пожар, об этом написала «Вечерняя Москва», и мы узнали из газеты, что дом наш построен еще до наполеоновского нашествия и был одним из уцелевших в пожар 1812 года. Входная деревянная лестница изгибалась винтом, комнаты были разной высоты – из одной в другую вела либо одна, либо несколько ступенек. Маленькие окна сложным способом предохранялись от ледяных узоров – между рамами ставили на зиму зловещий стакан с серной кислотой, под подоконником висела бутылочка – в нее опускали конец бинта, вбравшего стекающую с окон влагу.

Напротив, на другой стороне бульвара, стояло очень похожее здание с мемориальной доской – в нем жил Грибоедов. Кто из его современников бродил по нашим комнатам – такими вопросами в двадцатые годы как-то не задавались.

Новинский был оживленным местом – неподалеку шумел Смоленский рынок с огромной барахолкой, где престарелые дамы в шляпках с вуалью распродавали свои веера, шкапулочки и вазочки. По бульвару ходили цыгане с медведями, бродячие акробаты. Приезжие крестьяне, жмурясь от страха, перебежали через трамвайную линию – в лаптях, домотканых армяках, с котомками за плечами.

На бульваре мы нежданно-негаданно познакомились со своим сводным братом – Юрой Есениным. Он был старше меня на четыре года. Его как-то тоже привели на бульвар, и, видно, не найдя для себя другой компании, он принялся катать нас на санках. Мать его, Анна Романовна Изряднова, разговорилась на лавочке с нянькой, узнала, «чьи дети», и ахнула: «Брат сестру повез!» Она тут же пожелала познакомиться с нашей матерью. С тех пор Юра стал бывать у нас, а мы – у него.

Анна Романовна принадлежала к числу женщин, на чьей самоотверженности держится белый свет. Глядя на нее, простую и скромную, вечно погруженную в житейские заботы, можно было обмануться и не заметить, что она была в высокой степени наделена чувством юмора, обладала литературным вкусом, была начитанна. Все связанное с Есениным было для нее свято, его поступков она не обсуждала и не осуждала. Долг окружающих по отношению к нему был ей совершенно ясен – оберегать. И вот – не уберегли. Сама работающая, она уважала в нем труженика – кому, как не ей, было видно, какой путь он прошел всего за десять лет, как сам себя менял внешне и внутренне, сколько вбирал в себя – за день больше, чем иной за неделю или за месяц.

Они с матерью симпатизировали друг другу. С годами Анна Романовна становилась человеком все более близким нашей семье. С сыном своим она рассталась в конце тридцатых годов и, не зная о его гибели, десять лет ждала его – до последнего своего вздоха.

Есенин не забывал своего первенца, иногда приходил к нему. С осени 1923 года он стал навещать и нас.

Зрительно я помню отца довольно отчетливо.

В детскую память врезаются не повседневность, а события исключительные. Я, например, сама для себя родилась в тот день, когда мне в полуторагодовом возрасте прищемили палец дверью. Боль, вопль, суматоха – все озарилось, зашевелилось, и я стала существовать.

С приходом Есенина у взрослых менялись лица. Кому-то становилось не по себе, кто-то умирал от любопытства. Детям все это передается.

Первые его появления запомнились совершенно без слов, как в немом кино.

Мне было пять лет. Я находилась в своем естественно-прыгающем состоянии, когда кто-то из домашних схватил меня. Меня сначала поднесли к окну и показали на человека в сером, идущего по двору. Потом молниеносно переодели в парадное платье. Уже одно это означало, что матери не было дома – она не стала бы меня переодевать.

Помню изумление, с каким наша кухарка Марья Афанасьевна смотрела на вошедшего. Марья Афанасьевна была яркой фигурой в нашем доме. Глуховатая, она постоянно громко разговаривала сама с собой, не подозревая, что ее слышат. «Вы котлеты пережарили», – скажет ей мать в ухо. Она удалялась, ворча под общий хохот:

– Пережарила... Сама ты пережарила! Ничего. Сожрут. Актеры все сожрут.

Старуха, очевидно, знала, что у хозяйских детей есть родной отец, но не подозревала, что он так юн и красив.

Есенин только что вернулся из Америки. Все у него с головы до ног было в полном порядке. Молодежь тех лет большей частью не следила за собой – кто из бедности, кто из принципа.

Глаза одновременно и веселые и грустные. Он рассматривал меня, кого-то при этом слушая, не улыбался. Но мне было хорошо и от того, как он на меня смотрел, и от того, как он выглядел.

Когда он пришел в другой раз, его не увидели из окна. Дома была и на звонок пошла открывать Зинаида Николаевна.

Прошли уже годы с тех пор, как они расстались, но им доводилось иногда встречаться. В последний раз они виделись перед отъездом отца за границу, и эта встреча была спокойной и мирной.

Но сейчас поэт был на грани болезни. Зинаида Николаевна встретила его гостеприимной улыбкой, оживленная, вся погруженная в настоящий день. В эти месяцы она репетировала свою первую роль.

Он резко свернул из передней в комнату Анны Ивановны, своей бывшей тещи.

Я видела эту сцену.

Кто-то зашел к бабушке и вышел оттуда, сказав, что «оба плачут». Мать увела меня в детскую и сама куда-то ушла. В детской кто-то был, но молчал. Мне оставалось только зареветь, и я разревелась отчаянно, во весь голос.

Отец ушел незаметно.



3. Н. Райх

И сразу вслед за этим возникает другая сцена, вызывающая совершенно другое настроение. На тахте сидят трое. Слева курит папиросу Всеволод Эмильевич, посередине облокотилась на подушки мать, справа сидит отец, поджав одну ногу, опустив глаза, с характерным для него взглядом не вниз, а вкось. Они говорят о чем-то таком, что я уже отчаялась понимать.

В шесть лет меня стали учить немецкому, заставляли писать. Я уже знала, что Есенину принадлежат стихи «Собрала пречистая журавлей с синицами в храме...»⁹, что он пишет другие стихи и что жить с нами вовсе не должен.

У нас появилась первая «бонна» – Ольга Георгиевна. До революции она работала в той же должности ни больше ни меньше как у князей Трубецких, в том великолепном особняке, который стоял на Новинском рядом с нашим домом и где потом расположилась Книжная палата.

Ольга Георгиевна была суховата, грубовата и начисто лишена чувства юмора. А по ночам она рыдала над детскими книгами. Как-то я проснулась от ее всхлипываний. Над книгой она держала полотенце, мокрое от слез, и бормотала: «Господи, как безумно жаль мальчишек».

Детской нам служила просторная комната, где мебель почти не занимала места, посередине лежал красный ковер, на нем валялись игрушки и возвышались сооружения из стульев и табуреток.

Помню, мы с братом играем, а возле сооружений сидят Есенин и Ольга Георгиевна. Так было раза два. Ему не по себе рядом с ней, он нехотя отвечает на ее вопросы и не пытается себя насилловать и развлекать нас. Он оживился, лишь когда она стала расспрашивать о его планах. Он рассказал, что собирается ехать в Персию, и закончил громко и вполне серьезно: – И там меня убьют.

Только в ресницах у него что-то дрожало. Я тогда не знала, что в Персии убили Грибоедова и что отец втихомолку издевается над княжеской бонной, которая тоже этого не знала и, вместо того чтобы шуткой ответить на шутку, поглядела на него с опаской и замолчала.

Один только раз отец всерьез занялся мной. Он пришел тогда не один, а с Галиной Артуровной Бениславской. Послушал, как я читаю. Потом вдруг принялся учить меня... фонетике. Проверял, слышу ли я все звуки в слове, особенно напирал на то, что между двумя согласными часто слышен короткий гласный звук. Я спорила и говорила, что, раз нет буквы, значит, не может быть никакого звука.

Как-то до Зинаиды Николаевны дошли слухи, что Есенин хочет нас «украсть». Либо сразу обоих, либо кого-нибудь одного. Я видела, как отец подшучивал над Ольгой Георгиевной, и вполне могу себе представить, что он кого-то разыгрывал, рассказывая, как украдет нас. Может быть, он и не думал, что этот разговор дойдет до Зинаиды Николаевны. А может быть, и думал...

И однажды, забежав к матери в спальню, я увидела удивительную картину. Зинаида Николаевна и тетка Александра Николаевна сидели на полу и считали деньги. Деньги лежали перед ними целой горкой – запечатанные в бумагу, как это делают в банке, столбики монет. Оказывается, всю зарплату в театре выдали в тот раз трамвайной мелочью.

– На эти деньги, – возбужденно прошептала мать, – вы с Костей поедете в Крым.

Я, конечно, гораздо позже узнала, что шептала она во имя конспирации. И нас действительно срочно отправили в Крым с Ольгой Георгиевной и теткой – прятать от Есенина. В доме было много женщин, и было кому сеять панику. В те годы было много разводов, право матери оставаться со своими детьми было новшеством, и случаи «похищения» отцами своих детей передавались из уст в уста.

В 1925 году отец много работал, не раз болел и часто покидал Москву. Кажется, он был у нас всего два раза.

Ранней осенью, когда было еще совсем тепло и мы бегали на воздухе, он появился в нашем дворе, подозвал меня и спросил, кто дома. Я помчалась в полуподвал, где находилась кухня, и вывела оттуда бабушку, вытиравшую фартуком руки, – кроме нее, никого не было.

⁹ Из стихотворения «Исус младенец» (1916).

Есенин был не один, с ним была девушка с толстой темной косой.

– Познакомьтесь, моя жена, – сказал он Анне Ивановне с некоторым вызовом.

– Да ну, – заулыбалась бабушка, – очень приятно...

Отец тут же ушел, он был в состоянии, когда ему было совершенно не до нас. Может, он приходил в тот самый день, когда зарегистрировал свой брак с Софьей Андреевной Толстой?

В декабре он пришел к нам через два дня после своего ухода из клиники, в тот самый вечер, когда поезд вот-вот должен был увезти его в Ленинград. Спустя неделю, спустя месяцы и даже годы родные и знакомые несчетное число раз расспрашивали меня, как он тогда выглядел и что говорил, потому и кажется, что это было вчера.

В тот вечер все куда-то ушли, с нами оставалась одна Ольга Георгиевна. В квартире был полумрак, в глубине детской горела лишь настольная лампа, Ольга Георгиевна лечила брату синим светом следы диатеза на руках. В комнате был еще десятилетний сын одного из работников театра, Коля Буторин, он часто приходил к нам из общежития – поиграть. Я сидела в «кажете» из опрокинутых стульев и изображала барыню. Коля, угрожая пистолетом, «грабил» меня. Среди наших игрушек был самый настоящий наган. Через тридцать лет я встретила Колю Буторина в Ташкенте, и мы снова с ним все припомнили.

На звонок побежал открывать Коля и вернулся испуганный:

– Пришел какой-то дядька, во-от в такой шапке.

Вошедший уже стоял в дверях детской, за его спиной.

Коля видел Есенина раньше и был в том возрасте, когда это имя уже что-то ему говорило. Но он не узнал его. Взрослый человек – наша бонна – тоже его не узнала при тусклом свете, в громоздкой зимней одежде. К тому же все мы давно его не видели. Но главное было в том, что болезнь сильно изменила его лицо. Ольга Георгиевна поднялась навстречу, как взъерошенная клушка:

– Что вам здесь нужно? Кто вы такой?

Есенин прищурился. С этой женщиной он не мог говорить серьезно и не сказал: «Как же это вы меня не узнали?»

– Я пришел к своей дочери.

– Здесь нет никакой вашей дочери!

Наконец я его узнала по смеющимся глазам и сама засмеялась. Тогда и Ольга Георгиевна взглядела в него, успокоилась и вернулась к своему занятию.

Он объяснил, что уезжает в Ленинград, что поехал уже было на вокзал, но вспомнил, что ему надо проститься со своими детьми.

– Мне надо с тобой поговорить, – сказал он и сел, не раздеваясь, прямо на пол, на низенькую ступеньку в дверях. Я прислонилась к противоположному косяку. Мне стало страшно, и я почти не помню, что он говорил, к тому же его слова казались какими-то лишними – например, он спросил: «Знаешь ли ты, кто я тебе?»

Я думала об одном – он уезжает и поднимется сейчас, чтобы попрощаться, а я убегу туда – в темную дверь кабинета.

И вот я бросилась в темноту. Он быстро меня догнал, схватил, но тут же отпустил и очень осторожно поцеловал руку. Потом пошел проститься с Костей.

Дверь захлопнулась. Я села в свою «калету», Коля схватил пистолет...

В гробу у отца было снова совершенно другое лицо.

Мать считала, что, если бы Есенин в эти дни не оставался один, трагедии могло не быть. Поэтому горе ее было безудержным и безутешным и «дырка в сердце», как она говорила, с годами не затягивалась...

Н. Д. Вольпин

Свидание с другом

От автора

Сохранить для младших современников, передать в будущее ценителям поэзии Сергея Есенина его живые слова, его суждения, пронесенные памятью сквозь всю мою долгую жизнь со дней далекой юности, – такова была моя задача. Задача и долг.

Поначалу я думала обойти молчанием все личное мое, отступить в глухую тень, показать только поэта. Но в ходе работы поняла: это неосуществимо. Да и не нужно: ни к кому не обращенные, повисшие в пустоте, слова останутся мертвы и непонятны. Да и как уйдешь от себя самой?

Знаю: возникающий в моих записях образ поэта далек от привычного канона сегодняшней Есенинианы. Но, может быть, тем лучше?

Впрочем, надо помнить: в записях моих Сергей Есенин встает более молодым, чем тот, изучаемый... С последней нашей встречи ему оставалось жить шестнадцать месяцев. Шестнадцать месяцев роста и жадного творчества.

А эта книга... Пусть ее примут какой она есть. Перестраивать ее у меня уже не достанет ни сил, ни отпущенного срока жизни.

Москва, январь 1984

Часть первая Береги огонь (1919–1920)

*Я все о том же. Все в котомке
Воспоминаний горький хлеб.*

Белый и «зеленые»

Итак, наша молодежная группа при Союзе поэтов оформлена. Назвались «Зеленой мастерской». «Сейчас, – поясняет Яков Полонский, – иначе нельзя: куда-нибудь в Малаховку и то не проедешь. А тут – выписал командировку, приклепнул печать и езжай хоть в Кемь!»

В группе, кроме самого Полонского, студента-медика, трогательно влюбленного в поэзию (он и сам пишет стихи, даже выпустил в свет сборничек «Вино волос»), числятся: молчаливый и зябкий Захар Хацревин (для меня он брат двух прехорошеньких девочек-малышек, учившихся, как и я, в гимназии Н. П. Хвостовой), талантливая Наталья Кугушева (в прошлом княжна Кугушева) – горбатенькая, с красивым лицом, длинными стройными ногами (они показывали, какой ее задумала природа), синими печальными глазами и чуть приглушенным чарующим голосом. Через четыре года она выйдет замуж за прозаика из «Кузницы» Михаила Сивачева (кузнец и княжна!). А в 1957 году я с горечью узнаю, что давняя моя подруга, уже овдовев, лишилась зрения. Назовем еще Евгения Кумминга (тоже брат «хвостовки»): весьма деловитый и, как мы полагали, безусловно одаренный юноша. И, наконец, тот, кого назвать бы в первую голову, кто прочнее нас всех войдет в литературу: младший друг Кумминга и его подопечный – Веня Зильбер. В группе он всех моложе. Веню мы снисходительно поучали, разбирая его стихи, что у него несомненно есть обнадеживающие задатки, но... не поэта: пусть пытается силы в драматургии, в прозе... И судили мы правильно. В дальнейшем наш Веня покажет себя и как литературовед – В. Зильбер, и как прозаик – Вениамин Каверин. А его самонадеянный покровитель Кумминг года два спустя смоемся за границу, и в начале двадцать второго года я прочту на страницах белоэмигрантской газеты подписанный его именем рассказец, даже для этого издания несосветимо пошлый! Делец взял верх над поэтом и драматургом, каким мы его мнили.

Шла осень девятнадцатого года. Холод и голод. Мне передан приказ по группе: сегодня читаем в «Литературном особняке». Явка обязательна – придет послушать молодых сам Андрей Белый!

Собиралась наша «Мастерская» чаще всего на квартире у Полонского (и тогда нас робко слушала его сестра-подросток, с годами пришедшая в литературу как редактор, и совсем юная ее подруга Сусанна Жислина – в дальнейшем известная фольклористка). Реже у меня, и тогда нас приходил послушать старый друг моей семьи Яков Яковлевич Рогинский – антрополог, в ту пору только лишь начавший свой славный путь в науке. Иногда мы всей группой выступаем по разным клубам, литкружкам.

И вот приказ: явиться в «Литературный особняк». Это где-то на Поварской или Молчановке... или в Борисоглебском? Точней не помню. Я пришла, не захватив тетрадки. Читаю всегда на память. Едва ли не последней. В группе меня считают сильной, вот и приберегли «под занавес». Белый слушает очень внимательно. Я читаю свою «урбанистическую рапсодию» («С седьмого этажа»). Поэт слушает, помечая что-то на листике. Волнуюсь. Даже мой слабый голос окреп – от возбуждения: мы-де еще поспорим! Ваше дело – критика, наше –

отпор! Эх, услышать бы что-нибудь ценное, по существу... Пусть разругает в разнос. Нет, исправлять не стану. Но... для дальнейшей бы работы!

Разноса не было. Андрей Белый, когда разговоры кончились, подошел ко мне и... поцеловал мне руку. Сказал, как рублем подарил:

– Спасибо! Такого пятистопного ямба я не слышал и у зрелых наших поэтов. Понимаете... ведь пятистопник в русской поэзии разработан куда меньше, чем четырехстопный ямб. Уже и то приятно, что ни разу не сбились на шестистопник. Но главное... У вас на полсотни строк («сорок четыре», – уточнила я) в одиннадцати встретилось ускорение¹⁰, на третьей стопе – самый редкий прием! А эти ваши хориямбы на многосложных словах!

Я стою растерянная. Решив (и справедливо), что я незнакома с его терминологией (о его анализах в книге «Символизм» знаю только по пересказу подруги), Белый процитировал из прочитанного мною (бог ты мой, ведь записал же!):

«Город затих. Шестой этаж и выше.

Или это:

Огненно музыка росла волнами...

Тут и хориямб и ускорение на третьей стопе!

Или вот это:

Простерлось комнате... – как там у вас дальше?»

Забегая вперед, расскажу: полгода спустя, прочитав у меня в тетради мой «Седьмой этаж», Сергей Есенин остановился на этом же двестишии:

Простерлось комнате, лежась на крыши
Плавучей ночи лунное крыло, —

и сказал:

– А вот это образ! Зримый образ!

Каждый отметил свое. С позиций своей школы. Однако ни тот ни другой ничего не сказал «зеленой» поэтессе по самой сути! Вескую критику от старшего поэта я услышала (впервые за весь год!) только раз: от Вячеслава Иванова – летом 1920 года, когда шел набор в Литературную студию (развернувшуюся далее в Литературный институт). На вступительном коллоквиуме я, вообразив, что мой судья – строгий классицист, прочитала давнее свое квазиреволюционное стихотворение с крепко проработанной строфой, но по содержанию поверхностное, трафаретное. И выслушала заслуженную отповедь.

Первое знакомство. Молочный брат

В Союзе поэтов – то есть в кафе почти насупротив Главного телеграфа, но несколько ближе к центру (в те годы – Тверская, 18, бывшее кафе «Домино») – отмечается вторая годовщина Октября. Я пришла, прихватив кое-кого из друзей «не-поэтов» – уж очень напрашивались.

¹⁰ Т. е. отсутствие ударения там, где ему надлежало – или дозволено – быть по метрической схеме. – Н. В.

Идут выступления. Имена почти неизвестные. Кто-то из распорядителей подходит к столику в зале.

– Сергей, выступишь?

– Да нет, неохота...

– Нехорошо. Ты же на афише.

– А меня не спрашивали... Так и Пушкина можно поставить в программу.

Из молодежи почти никто не выходит читать. Да и мало у кого нашлись бы соответственные стихи, не читанные многожды с этой эстрады. Я набралась храбрости и, едва одолев смущение, подошла к неизвестному мне до того светловолосому завсегдатаю «Домино» (как в шутку называла я Кафе поэтов).

– Вы Есенин? Прошу вас от имени моих друзей... и от себя. Мы вас никогда не слышали, а ведь читаем, знаем наизусть...

Поэт встал, учтиво поклонился.

– Для вас – с удовольствием!

И взошел на эстраду.

Тут же уместно пояснить. Незадолго до того, недели за две, я с этой же эстрады читала стихи (к сожалению, не помню, что именно я тогда прочла), и после выступления мой брат Марк рассказал мне, что меня внимательно слушали среди прочих Мариенгоф с Есениным и оба очень расхваливали. Есенин в те годы был широко известен, но еще не знаменит. Я попросила брата показать мне в публике Есенина, брат не захотел.

– Да ты сама узнаешь, он тут постоянно... И не понимаю, что ты с ним носишься... рядовой поэт, не слишком искусный...

Да, широкое признание еще не пришло к нему. Но все же на слова брата я рассмеялась: я-то знала цену Есенину уже и тогда, хоть и не ставила его выше Маяковского (перед которым преклонялась).

Итак, Есенин вышел читать.

Поднимаясь на эстраду, он держал руки сцепленными за спиной, но уже на втором стихе выбрасывал правую вперед – ладонью вверх – и то и дело сжимал кулак и отводил локоть, как бы что-то вытягивая к себе из зала – не любовь ли слушателя? А голос высокий и чуть приглушенно звонкий; и очень сильный. Подача стиха, по-актерски смысловая, достаточно выдерживала ритм. И, конечно, ни намек на подвывание, частое в чтении иных поэтов (даже у Пастернака!). Такое чтение не могло сразу же не овладеть залом. Прочитал сперва из «Иорданской голубицы» – «Мать моя – родина, Я – большевик!»; потом – «Песнь о собаке» («Утром в ржаном закуте...»).

Вот так оно и завязалось, наше знакомство. Но в «Домино» я заглядывала нечасто. Здесь самое интересное начиналось поздненько, чуть не за полночь. А я жила в комнате, сданной мне по знакомству, и приходилось соблюдать поставленные хозяйкой условия: мне не дали ключа – «звоните, стучитесь, Агаша откроет». Но бесконечно преданная хозяину (и крепко недолюбливавшая хозяйку) домработница Агаша просила приходить либо до одиннадцати, либо... совсем поздно, после двух, – а первый сон у нее уж больно крепок. Я, бывало, пока ее докричусь в окно, весь свой Всеволожский разбужу, да заодно и хозяев своих. Но к исходу декабря я устроилась на работу в «ЦУТОП» – благо там давали фронтальной паек. На обратном пути (пешком!) от Красных ворот на Остоженку заходила нередко в Союз поэтов – узнать программу на ближайшие вечера и кстати пообедать: членам Союза полагалась изрядная скидка; а где же еще можно было на обесцененную зарплату получить сытный «дореволюционный» обед? И вот, обедая в СОПО, я нередко здесь же, в «Зале поэтов», видела и Есенина. Но я не была уверена, что он меня запомнил. Останавливало и то, что мне он часто казался то ли нетрезвым, то ли очень уж ушедшим в себя. Чувствовалось, что он проходил в ту пору нелегкую полосу жизни. Не только подойти – поклониться не

решалась! А между тем сам он, бывало, уставится в меня издали, словно с осуждением... За что – за то ли, что не кланяюсь первая? Так и оказалось.

Мой друг детства (с двух лет) Саня К. попросил меня устроить и ему удешевленные обеды в нашем кафе, и я – каюсь! – посчитала возможным отобрать два-три старых своих стихотворения (написанных в канун первой мировой войны), какие можно было перелицевать на мужской род («Я одна на каменном балконе...»), и дала ему. Его приняли на их основании в Союз поэтов (так это было тогда просто!).

И вот однажды сижу я вдвоем с Саней К., обедаем... а с дальнего столика на нас посматривает Есенин. Саня спешил, ушел раньше меня. И тогда Есенин подсел к моему столику.

– Не узнаете меня? – спросил. – А мы вроде знакомы. – И осведомился, кто этот «красивый молодой человек, что сидел тут сейчас с вами».

– Молодой поэт. Недавно принят в Союз, – ответила я и ложь и правду. – Мой молочный брат.

– Молочный? Обычно девицы в ответ на непрошеное любопытство называют приятеля «двоюродным». А у вас молочный!

Завязался разговор.

– Почему, когда входите, не здороваетесь первая?

– Но ведь и сами вы ни разу мне не поклонились...

– Я мужчина, мне и не положено. Разве ваша бабушка вам не объясняла, что первой должна поклониться женщина, а мужчине нельзя – чтобы не смутить даму, если ей нежелательно признать на людях знакомство.

Я рассмеялась.

– Боюсь, хорошему тону меня учили не бабушка и не мама, а старший брат. Тут на первом месте было: не трусь! не ябедничай!

С этого дня я частенько при встречах беседую с Есениным. Как-то он, словно бы вскользь (на вопрос «Почему пригорюнились?»), сказал: «Любимая меня бросила. И увела с собой ребенка!» А в другой раз, месяца через два, сказал мне вскользь: «У меня трое детей». Однако позже горячо это отрицал: «Детей у меня двое!»

– Да вы же сами сказали мне, что трое!

– Сказал? Я? Не мог я вам этого сказать! Двое!

И только через четыре года, уже зная, что и я намерена одарить его ребенком, сознался мне, что детей у него трое: дочка и двое сыновей. «Засекреченным» сыном был, по-видимому, Юрий Изряднов. От Кости он при мне никогда не отрекся.

Нередко после программы в СОПО Есенин идет теперь меня провожать – на мою Остоженку.



Н. Вольгин

Весна 1920. В СОПО перевыборы. Погода мучительно жаркая. Закрытое голосование. На инвалидной машинке со стертой лентой, через синюю копирку печатаются списки кандидатов в правление. «Все как у взрослых», – смеюсь я. И прошла с моим листком в третью, совсем маленькую комнату правления. Туда же за мной и Есенин.

– Восемь, три? – спрашивает.

– Нет, – поправляю, – всех десять: семеро в члены правления и трое кандидатами...

Ох и весело же он рассмеялся!

– Я не о выборах. Всеволожский переулочек – а номера?

Ого! Напрашивается в гости. Я до сих пор, когда случалось Есенину меня провожать, прощалась не доходя до места – не желала, чтобы он знал, каких трудов мне стоит докричаться Агаши или полуглухой соседки Сони Р.

Что он думал при этом? Верно, подозревал, что меня караулит ревнивый друг – уж не молочный ли брат?

Оберегая мою нравственность – или свое добро? – хозяйка квартиры так и не дала мне ключа!

Умён

Усиленное внимание ко мне Есенина не прошло незамеченным.

– Ну вот, Надя, – говорит мне Наташа Кугушева, – ты теперь сдружилась с Есениным. Какой он вблизи?

– Знаешь, – отвечаю, – он очень умен!

Наташа возмутилась:

– «Умен!» Есенин – сама поэзия, само чувство, а ты о его уме. «Умен!» Точно о каком-нибудь способном юристе... Как можно!

Наташа, понятно, имела в виду то, что Есенин через два года выразит колдовской строкой о «буйстве глаз и половодье чувств». Но сейчас, окинув мыслью лучшее, что у него написано к тому дню, я кинулась в жаркий спор.

– И можно, и нужно! Вернее было бы сказать о нем «мудрый». Но ведь ты спросила, что нового я в нем разглядела. Так вот: у него большой, обширный ум. И очень самостоятельный. Перед ним я курсистка с жалким книжным умишком.

Не одной Кугушевой, так многим думалось, что в Сергее Есенине стихия поэзии должна захлестнуть то, что обычно зовется умом. Но он не был бы поэтом, если бы его стихи не были просветлены трепетной мыслью. Не дышали бы мыслью.

– Конечно, – продолжаю, – я и раньше понимала, по самим стихам его... Помнишь:

Я еще никогда бережливо
Так не слушал разумную плоть.

Ты вслушайся в это двестишь!.. Но, только тесней сдружившись, я узнала, насколько ум Есенина глубок и самобытен.

Наташа не приняла моих объяснений.

А что сам Есенин зовет умом?

Выскажешь ту или иную мысль и услышишь:

– В книжках вычитали? – И значат эти слова у Есенина: «Пустое! Не стоит и раздумывать над твоим замечанием».

Зато, если в ответ на что-то он спросит: «Это вы сами надумали?» – прими уже и самый вопрос как высокую оценку своей мысли.

До всего дойти своим умом, самостоятельное суждение, новый подход к вопросу, неожиданная новизна мысли – только это и ценно для него. И как же я бывала рада, когда могла честно ответить:

– А нигде не вычитала – да, сама надумала.

Рада и горда!

«Сестра моя жизнь» в СОПО

Ранней весной 1920 года у нас в «Зеленой мастерской» на квартире у Полонского живший отшельником Борис Пастернак прочитал еще не опубликованную «Сестру мою жизнь». Кроме юных поэтов нашей группы – Захара Хацревина, Полонского, Кугушевой, меня, Кумминга (Зильбера не было) – пришли послушать Сергей Буданцев с женою (поэтессой Верой Ильиной) и Борис Пильняк (этот, правда, в самом начале чтения ушел). Пастернак считал, что книгу необходимо читать всю подряд, одним духом от начала до конца. Вот так, как была она им написана. «На меня, – рассказывал он, – накатило». Но в этом был опасный просчет: большинству оказывалось не под силу с неослабным вниманием прослушать столько стихов. Все же после чтения мы договорились с Борисом Леонидовичем о его таком же выступлении в СОПО. Особенно рьяно взялась за устройство вечера Вера Ильина. Помогала в хлопотах и я. Зарождалась дружба моя с Пастернаком, и за вечер в СОПО я чувствовала себя перед ним в ответе.

А вечер шел неладно. Я как приклеенная сидела в зале перед эстрадой. Народу собралось поначалу немало, но поэт читал и читал, а ряды редели и редели.

Есенин бросил слушать сразу же. Время от времени он показывался под зеркальной аркой и подавал мне знак, чтобы я шла ужинать. Но слушателей оставались уже единицы: «многостудный пустозал», незаметно не уйдешь. А Сергей, возникая под аркой, все резче проявлял нетерпение.

Наконец он решительно подошел ко мне, взял за руку и увел во второй зал.

– Ведь вам не хочется слушать, зачем же себя насиловать?

Мои объяснения, что я-де не могу и не хочу обидеть Пастернака, Есенин начисто отверг.

– Сам виноват, если не умеет завладеть слушателем. Вольно́ ему читать стихи так тяготно. Сюда приходят пожрать да выпить, ну и заодно стихи послушать.

Несет себя как личность

Теплой майской ночью мы идем вдвоем Тверским бульваром от памятника Пушкину. Я рассказываю:

– Встретила сегодня земляка. Он меня на смех поднял: живешь-де в Москве, а ни разу Ленина не видела. Я здесь вторую неделю, а сумел увидеть. Что же, Ленин им – экспонат музейный?

Есенин резко остановился, взгляделся мне в лицо. И веско сказал:

– Ленина нет. Он распластал себя в революции. Его самого как бы и нет!

Вместо ответа я прочла:

...вам я
душу вытащу,
растопчу —
чтоб большая! —
и окровавленную дам, как знамя.

Так, что ли?.. Из Маяковского. Не узнали?

Я нарочно поддразниваю спутника этим именем.

– Узнал, конечно... Из «Облака...» – И, возвращаясь к сути разговора, повторил:

– Ленина нет! Другое дело Троцкий. Троцкий проносит себя сквозь историю как личность!

– «Распластал себя в революции» и «проносит себя как личность»! Что же, по-вашему, выше? Неужели второе?

И слышу в ответ:

– Все-таки первое для поэта – быть личностью. Без своего лица человека в искусстве нет.

(Вот оно как! Политика, революция, сама жизнь – отступи перед законами поэзии!)

Сейчас, весной двадцатого, Сергей Есенин еще очень далек от замысла во весь рост дать в поэзии образ Ленина. Пройдут годы. Отойдет в глухое прошлое религиозный строй образов. «Распластал себя в революции!» Этой мысли своей поэт не отбросит. Но расценит по-новому. И мы прочтем в «Анне Снегиной»:

«Скажи,
Кто такое Ленин?»
Я тихо ответил:
«Он – вы».

Львов-Рогачевский

Лето двадцатого года. Сидим с Есениным у меня, в Хлебном, – кажется, по приезде его из Харькова. Сергей в разговоре помянул Львова-Рогачевского. Помянул, как мне показалось, уважительно. А я в ответ рассказываю о его литкружке, где некая «Каэль» (то ли Ксения, то ли Клавдия, то ли Львова, то ли Лаврова), дама в длинных локонах а-ля Татьяна Ларина с надменным лорнетом в руке, так строго спросила меня, написала ли я в жизни хоть одно рондо.

– Но, допустим, – говорю я Есенину, – за своих кружковцев он не в ответе. У меня к их наставнику другой счет, поважнее.

Год назад я как студийка неких «Курсов экспериментальной педагогики» по его заданию делала доклад о роли в поэзии параллелизма образов. Исходить мне предложено было из статей (он дал мне их сам) Веселовского и чьих-то еще. Я не ограничилась перекладом источников, привлекла и собственные соображения, подсказанные своим же поэтическим опытом и сравнительно приличным знанием новых и старых поэтов, русских и нерусских. Мой доклад именитый критик высоко одобрил, но добавил с укором: «Только почему же такие несерьезные примеры?» В докладе наряду с Пушкиным, Тютчевым, Гейне прозвучал в обильных цитатах Маяковский. Напомню: тогда, летом 1919 года, только что вышел большой сборник «Все сочиненное Владимиром Маяковским», и приобрести его было проще простого.

Не прошло и трех месяцев, как на каком-то докладе самого Львова-Рогачевского я услышала его восторженный отзыв о... «большом современном поэте Владимире Маяковском». Я восприняла это не как запоздалое принятие только теперь вдруг открывшегося критику «большого поэта», а как явную беспринципность – или хуже того: старание подладиться под советскую идеологию. Да так ли еще он верит в прочность новой власти!

Есенин слушал меня очень внимательно. Не заступаясь за критика по существу – то есть с позиции этики художника, – он отверг только последнее мое замечание.

– Выходит, верит! – И остановился на другом, видно, сильнее задевшем его: – Так-таки назвал Маяковского большим современным поэтом? И вы считаете – не по убеждению?

Мой гость призадумался: вот оно как глубоко сейчас, признание мощного его соперника в литературной среде! И не только в ней. Держись, Есенин Сергей!

Кобыльи корабли

Весна двадцатого. Работаю библиотекарем в Белостокском военном госпитале – прямо напротив Художественного театра. Работу заканчиваю в шесть, но еще задерживаюсь поужинать (в зарплату входит взамен «сухого пайка» обед и ужин).

В тот вечер, едва выйдя из госпиталя, я увидела караулившего меня Есенина: ходит с тротуара на тротуар (движение по Кузнецкому и Камергерскому было отнюдь не бойкое). На лице и во всей осанке радостная взволнованность. И нетерпение.

– Вот и вы наконец! Я вам приготовил свою новую книжку.

– О, спасибо! А я ее уже успела купить!

Сказала и тут же осеклась: глупо как! Он же мне сюрприз готовил. Вот и лицо сразу угасло...

– Но разве вы не хотите, чтобы я вам ее надписал? Я вас провожу – позволите?

– Конечно.

Бог ты мой, как сразу изменился тон, стал непривычно церемонным. Неужто вкось истолковал мои слова?

Направляемся ко мне, по моему новому адресу, то есть в Хлебный переулок. Перед витриной книжной лавки у консерватории призадержались. Разговор, естественно, заходит о стихах.

– Скажите, – спрашивает вдруг Есенин, – какое из моих стихотворений первым привлекло ваше внимание... понравилось вам?

Отвечаю без колебания:

– В «Скифах», вот это:

Скучно мне с тобой, Сергей Есенин,
Подымать глаза!

Он испуганно глядит на меня, на ходу весь ко мне повернувшись, голубизна глаз сгустилась в синеву. Верно, подумал: «Смеется, что ли, девчонка!» Но, проверив мой ответный взгляд, сразу успокоился. (Недаром старший брат мой внушал мне еще двухлетней, чтобы я никогда не врала: он через ноздри все прочтет, что у меня, курносой, в мозгу написано!)

Но вот мы и в Хлебном. Сергей, оценивая, обводит взглядом комнату. Очень большая, в два окна – и неплохо обставлена. В углу у входа красивые куранты башенкой. Против света глаза у гостя стали впрямь васильковыми.

Простившись взглядом с курантами, гость подходит к столу у левого окна – квадратный раздвижной обеденный стол, но для меня он «письменный». Присаживается, первым делом выводит надпись на даримой книге. Это, помнится, была «Третьякница», а надпись такая:

**Надежде Вольпин
с надеждой.**

Сергей Есенин.

Что ж, подумала я, пожалуй, лестно, если его «надежда» относится к творческому росту. Но поэт имел в виду другое.

Вручив мне «Третьякницу», Сергей принялся рыться в моем «книжном шкафу» – стопках книг на столе: почти сплошь стихи – главным образом, новые: Маяковский, Каменский («Звучаль Веснянки»), Рюрик Ивнев, Максимилиан Волошин («Иверни»), Михаил Кузмин. Есть и «полное собрание сочинений» экспрессиониста Ипполита Соколова (на шестнадцать

страницах). Есть немецкие и даже латинские (гимназический мой Гораций). И целая стопка книжек Сергея Есенина.

Из нее он выдергивает тоненькую квадратную, чуть меньше школьной тетради книжечку: сиреневая обложка, сверху крупными печатными буквами: «ХАРЧЕВНЯ ЗОРЬ», внизу буквами поменьше имена трех авторов: *Сергей Есенин, Анатолий Мариенгоф, Велимир Хлебников. 1920. Москва.*

На оборотной стороне обложки посередине анонс:

Печатается сборник «ИМАЗИНИСТЫ».

Поэзия, проза, статьи, рисунки.

Участствует вся банда.

И пониже, справа: *«редактируют Сергей Есенин, Анатолий Мариенгоф».*

А совсем книзу стоит жирным шрифтом цифра 100.

Описываю так подробно, потому что при очень ограниченном тираже тех лет книга несомненно стала библиографической редкостью.

Открывается она есенинской поэмой «Кобылы корабли» (такие стихотворения, построенные как триптихи, тетраптихи и прочая, в те далекие времена именовались поэмами).

Хорошо отточенным карандашом, полагаю, химическим – он не стерся и по сей день, – Есенин вычеркивает несколько строк в третьей и пятой главках и надписывает сверху своим бисерным почерком – каждая буква отдельно – новые варианты. В печати они появятся позже. Вот эти правки.

Главка третья, строфа четвертая (последняя). Напечатано:

Причащайся соломой и шерстью,
Жуй твой хлеб и расти овес.
Славься тот, кто наденет перстень
Обручальный овце на хвост.

Первая строка оставлена неизменной. Три последние (карандашом) читаются так:

Тепли песней словесный воск,
Злой октябрь осыпает перстни
С коричневых рук берез.

Главка пятая, заключительная. Третья строфа читается:

В сад зари лишь одна стезя,
Череп с плеч только слов мешок.
Все познать ничего не взять
В мир великий поэт пришел.

Жирно вычеркнуты вторая строка и четвертая. Строфа теперь звучала так:

В сад зари лишь одна стезя,
Сложет рощи октябрьский ветер.
Все познать ничего не взять
Пришел в этот мир поэт.

(Заметьте: нет – и не вставлено! – запятой между «познать» и «ничего», и «пришол» – не «пришел».)

– Ну, зачем, по-вашему, я внес эти правки?

Я знаю поэму наизусть и правку принимаю не безболезненно. Мне жалко, что отброшен образ «череп – мешок слов» и заменен словами об октябре, уже прозвучавшими в третьей главке. Высказать прямо? А не обидится?

– Не поняли? Вы же сами поэт, должны понять. Было шатко: «великий мир» или «великий поэт».

А мне подумалось: подобные замечания («ловля блох») мы в нашей «Зеленой мастерской» постоянно делаем друг другу, но только как бы в учебном порядке – прими, мол, к сведению, чтоб избежать такого же в дальнейшей работе: написанного не правим. А вот Есенин, установившийся и признанный поэт, правит уже напечатанное! Для меня, моих друзей отработанное как бы костенеет. Но как не отметить, что после правки стих стал крепче. И я говорю:

– Что убрали «великий» – это хорошо: «поэт» без эпитета, да еще вынесенный в конец, на рифму, звучит сильнее и становится «великим» сам собой, без бахвальства.

Смотрим вместе правку в третьей главке. Здесь ведь тоже, говорю я, сдвиг: для глаза «обручальный», а на слух вроде бы «обручальная овца». Но дело скорее в другом: уже поженили поэта с овцой, к чему теперь поминать обручение? Новым вариантом устранен не только сдвиг – устранена тавтология.

(Через многие годы Анатолий Мариенгоф в своем «Романе без вранья» объяснит, что правка была здесь вызвана не смысловым, а чисто формальным соображением: потребовалось устранить именно эту «обручальную овцу».)

– А можно спросить? – говорю я несколько позже. – Что такое «Трерядница»?

И Есенин растолковывает мне, что есть особая техника иконописи: изображения – сразу три – делаются на планочках, укрепляемых ребром. Смотришь прямо – видишь один образ, справа поглядишь – другой, слева – третий. Вот такая троякая икона и зовется трерядницей.

Хлястик и канотье

Май двадцатого года, Хлебный переулочек. Пьем с Сергеем пойло, морковное, что ли, которое тогда заменяло нам чай.

– Красивая комната, – говорит не в первый раз мой гость и останавливает глаза на курантах. Нет, не старинных: скорее то, что в начале века называлось «стиль модерн» (разные там квадратные розы и чайки под Художественный театр). Комната и впрямь хороша и просторна – все двадцать пять метров!

– Вещи тут не мои. Хозяйка их распродает одну за другой. На очереди эти куранты.

– Нет, нет. Вы их удержите.

– Уже просватаны.

– Не отдавайте. У вас стоят, значит, ваши. Закон!

Но знаю: по закону мне должны оставить на чем спать, стол и стул. Да и сняла я комнату по знакомству – не наживать же врага вместо доброй и заботливой хозяйки.

– Она отдаст за бесценок, деньги проест и через неделю сама пожалеет. Не выпускайте их, – учит Сергей.

– С радостью бы откупила их сама, да не на что. Я же их и просватала.

Понимаю: комната ослепнет, когда их увезут, эти куранты!

Есенин возвращается к окну, к столу: выбирает из «собственной» стопки свой «Голубень». Томик сам собой раскрылся на стихотворении того же названия. Строфа «Ночлег, ночлег...» отчеркнута.

- Что, понравилось? Или, наоборот, смутило?
- Очень понравилось. Это – и еще про коня:

Бредет мой конь, как тихая судьба.

Кстати, в обеих этих строфах есть у вас и шестистопные строки. И еще их несколько. Особый расчет – или нечаянная небрежность?

– Как бы вам сказать... Сознательно, конечно. Это как иной франт велит портному оставить кончик хлястика незакрепленным. Пусть болтается. Нарочитая небрежность.

Сравнение с хлястиком... Как оно было бы естественно (и не запомнилось бы), примени его поэтесса! Я вспомню его через несколько дней при случае со шляпой.

Очень жаркий день. Обедаю в СОПО. Входит Есенин. Подсаживается к моему столику. Снял шляпу – соломенную шляпу-канотье с плоским верхом и низкой тульей, – смотрит, куда бы ее пристроить.

- А не к лицу вам эта шляпа, – сказала я.

Не проронив ни слова, Сергей каблуком пробивает в донце шляпы дыру и широким взмахом меткой руки запускает свое канотье из середины зала прямо в раскрытое окно!

Я знала его уже достаточно и не польстилась мыслью, что расправа со шляпой учинена в мою честь. Подумалось: да скажи ему кто угодно, что не к лицу, – ну, хоть эта пожилая подавальщица, и шляпу постигла бы та же участь. Ради меня разве лишь картинность жеста. И я протестую:

– Зачем же так! Сперва купили бы другую! Как вы пойдете в это пекло с непокрытой головой!

И припомнился хлястик.

Тонкая штучка

Очень теплый апрельский день. Я со службы, но еще совсем светло. Стою перед книжным лотком в СОПО. Отобрала стопку книг. За мной вырастает Есенин, заглядывает через мое плечо. Слышу:

- Что вы тратите ваши денежки на всякий хлам!

Мне сразу становится смешно и весело.

- Да у меня их так мало! На что другое и не хватило бы.

В самом деле, цены на книгу, даже на букинистическую, очень низки. Все-таки замечание Есенина врезалось в мое сознание. Это он что же, учит меня бережливости? Черта больше крестьянская, чем городская.

– И не все хлам. Смотрите – я тут раскопала клюевский «Сосен перезвон». А прочее... беру просмотреть: когда с эстрады слушаешь, многое кажется значительным, а проверишь глазом – пустая трескотня.

Завязывается разговор о поэтах.

– Клюев... Вы, небось, думаете: мужичок из деревенской глуши. А он тонкая штучка. Так просто его не ухватишь. Хотите знать, что он такое? Он – Оскар Уайльд в лаптях.

Уайльд в лаптях! По тону не ясно, сказано это в похвалу или в осуждение. Скорей второе. Но еще и с вызовом самозащиты: вы, может, и обо мне судите как о каком-то лапотнике: туда же, суется... с суконным рылом в калашный ряд поэзии! А вы раскусите-ка нас, что мы в себе несем!

Позже, в беседе со мной осенью двадцать первого года, Есенин стал мне рассказывать о древней русской литературе – великой литературе, которую «ваши университетские и не ведают – только с краешку копнули. Она перевесит всю прочую мировую словесность. Ее по монастырским подвалам надо выискивать, по раскольниковым скитам. И есть у нее свои ученые знатоки, свои следопыты. Ее, всю жизнь отдай, – как надо, не узнаешь».

Есенин говорил уже взхлеб, все больше разгораясь. И в заключение добавил:

– Вот в этом знании Клюев – академик!

А глубоко ли сам он, Сергей Есенин, черпал из этой древней сокровищницы? Прямо не спросишь. Мой осторожный вопрос он оставил без ответа.

Пощечина. Суд

Об этом кое-что уже печаталось. И не однажды. Мне остается рассказать полнее – и, может быть, точнее.

Среди прочих «измов» бытовал в поэзии к концу второго десятилетия так называемый экспрессионизм. А его глашатаями именовали себя юные тогда поэты Николай Земенков и Ипполит Соколов (кто еще, не припомню; кажется, Гурий Сидоров). В августе 1919 года, впервые переступив порог СОПО, я с книжного лотка у входа приобрела белую книжечку в шестнадцать страниц, озаглавленную: Ипполит Соколов «Полное собрание сочинений». А на титульном листе еще значилось: «не посмертное» и ниже: «не стихи» – хотя в книжице были только стихи! Чем только не засоряла я тогда свою молодую, еще очень емкую память, но из экспрессионистов мне запомнилось – на двоих! – полстроки «...го́ндолá губь». И запомнилось-то лишь по ударению на первом слоге «го́ндолы» – как меня заверили, истинно итальянскому.

Странный был юноша этот Соколов. До смерти боясь подцепить в голодной Москве сыпняк, он в общественных местах не позволял себе присесть на стул. Однажды у меня на глазах он прослушал в университете всю лекцию профессора Сакулина, сидя «на палочке верхом» и ничего не записывая, доверяясь памяти. Но к весне 1920 года Ипполит начал уже перестраиваться из поэта в критика и литературоведа. Свой артиллерийский огонь он направил на имажинистов. В первую голову – на Сергея Есенина.

Стоило Есенину что-либо прочесть с эстрады, вслед за ним вырастал перед публикой юный Ипполит. Но был он с виду совсем не юношей. Рослый, чуть сутулый, с тяжелым мучнистым лицом, он выглядел лет на десять старше своих осмнадцати лет. Выйдет вот так на эстраду, вынет заготовленную пачку листков и под скрежет ножей о тарелки заводит лекцию. У Есенина, он утверждает, нет ничего своего. Вся система его образов – особенно же образов религиозного ряда, всяких его богородиц, телков и младенцев – полностью позаимствована у... немецкого поэта Рейнера Марии Рильке. Да, у великого Рильке!

И он читает вслух сперва немецкие строки, затем их дословный русский перевод и, наконец, якобы очень с ними схожие строки Есенина. Какие-нибудь «Облаки лают. Ревет златозубая высь». Публика слушает, скучая: сюда приходят поесть «не по нормам», поглазеть на живых поэтов, кстати и послушать. Пусть Есенин и не выступал, а тот все одно выходит на эстраду со своими «разоблачениями». Кто-нибудь крикнет: «Брось ты, Ипполит, Есенин же не знает немецкого языка!» А Соколов упорствует: «Тем хуже. Значит, влияние здесь не прямое, а через посредственные и уже опошленные подражания». Есенин слушал сперва с усмешкой. Ипполит, повторяясь от раза к разу, договорился, наконец, до слова «плагиат». Сергей сам и не слышал, но, когда ему услужливо об этом доложили, попросил предупредить Соколова, что если тот еще раз повторит подобное, то он, Есенин, «набьет ему морду».

Дня через два Сергей привел меня в СОПО поужинать. Мы устроились в Зале поэтов поодаль от зеркальной арки – эстрада от нас не видна. Едва взялись за вилки, к Есенину подскочил Захаров-Мэнский и со сладострастным предвкушением скандала вкрадчиво говорит: – Ипполит уже завелся, читает цитаты.

Есенин просит меня не вставать – а сам уже под аркой. Не усидела и я.

Ипполит произносит – очень отчетливо, подчеркнуто – «...прямой плагиат...».

Но закруглить свою тираду он не успел. Есенин, точно циркач, взлетел на эстраду. Широкий взмах руки. Пощечина... нет, не звонкая. На рыхлом лице критика багровый отпечаток ладони.

Шум, смятение.

Кое-как мы доели свой ужин. Уже известно: будет общественный суд.

Из кафе выходим вдвоем: Есенин с Грузиновым провожают меня Тверским бульваром домой. Сергей разволнован. Он явно недоволен собой. Но, словно готовясь уже сейчас к предстоящему суду, оправдывает свой поступок. Это недовольство собой еще углубилось, когда он услышал от меня, что Ипполит «только выглядит солидным дядей, а на самом деле ему от силы восемнадцать лет». И тут Грузинов, добрая душа, одернул меня и тихо отругал:

– Где ваша женская чуткость? Не видите, что ли? Он и так расстроен.

А Сергей храбрился и все доказывал – скорее себе, чем нам двоим, – что поступил по справедливости.

– Не оставлять же безнаказанной наглость зарвавшегося буквоеда! Нет, не стану я перед ним публично извиняться...

И вдруг сам себя перебивает:

– А этот его Рейнер Мария, видно, и впрямь большой поэт!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.